

Кондратьев И.

САЛТЫЧИХА

ЖЕНСКИЕ ЛИКИ — СИМВОЛЫ ВЕКОВ

Иван Кузьмич Кондратьев

Салтычиха

(Женские лики – символы веков)

Иван Кузьмич Кондратьев (наст. отчество Казимирович; 1849–1904) – поэт, прозаик, драматург. Родился в с. Коловичи Вилейского уезда в крестьянской семье. Свои стихи, рассказы, романы помещал в «Русской газете», «Новостях дня», в журналах «Московское обозрение», «Спутник», «Россия» и многих других. Отдельными изданиями в Москве выходили пьесы-шутки, драмы из народной жизни, исторические повести, поэмы. В песенный фольклор вошли романс «Эти очи – темны ночи» и другие его песни и романсы. Предполагается, что ему принадлежит исходный текст русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

Героиней романа «Салтычиха», публикуемого в этом томе, является помещица Подольского уезда Московской губернии Дарья Николаевна Салтыкова, известная крайне жестоким обращением с крепостными крестьянами. Следствием по ее делу было установлено, что она замучила насмерть более ста человек. В 1768 г. приговорена к смертной казни, замененной пожизненным заключением в монастырской тюрьме.

Содержание

Часть первая Чертова сержантка	0006
Глава I На лесной дороге	0006
Глава II Ослушник	0021
Глава III Под шум непогоды	0034
Глава IV Малиновый домик	0050
Глава V Первые проявления	0063
Глава VI Зуботыка	0071
Глава VII Васильковский кафтан	0078
Глава VIII Видение императрицы Анны	0093
Глава IX «Слово и дело»	0105
Глава X Проклятая	0111
Глава XI Под акациями сада	0118
Глава XII Семейное горе	0128
Глава XIII Своя воля	0138
Глава XIV Кулачный бой	0151
Глава XV Боец	0160
Глава XVI Под волчий вой	0165
Глава XVII Грозная домоводка	0177
Часть вторая Две силы	0189
Глава I Оскорбленный дворянин	0189
Глава II Волчья погребница	0199
Глава III Освобожденный узник	0212
Глава IV Несвоевременный поцелуй	0222
Глава V Лучина выдала	0229
Глава VI Последствия	0240

Глава VII На майдан	0252
Глава VIII Листья шелестят	0263
Глава IX Над свежей могилой	0275
Глава X Новые подруги	0286
Глава XI Безумная	0294
Глава XII Галя в фаворе	0305
Глава XIII Калмычка	0318
Глава XIV Неприятная вестъ	0329
Глава XV Ночное нападение	0342
Глава XVI На Самотеке	0355
Глава XVII Донос	0360
Глава XVIII Борьба	0367
Часть третья Знаменательный указ	0380
Глава I Смуглянка	0380
Глава II На ловца и зверь бежит	0389
Глава III На Тюльпе	0400
Глава IV Надо судить!	0409
Глава V Графская цветочница	0422
Глава VI «Заботливая матушка»	0436
Глава VII Всякому делу свой конец	0442
Глава VIII «Урод рода человеческого»	0448
Глава IX Знаменательный указ	0455
Глава X Позорище	0459
Эпилог	0463

Иван Кондратьев

Салтычиха

Часть первая

Чертова сержантка

Глава I

На лесной дороге

Лес был спокоен и угрюм – был таков именно, каким он бывает нередко в конце сентября, когда трава совсем уже поблекла, лист пожелтел и осыпался, оставив только кое-где мотающиеся на серых прутьях листики. Небо хмурилось и, казалось, всякую минуту готово было разразиться теми бесконечными, назойливыми слезами, которые так свойственны северной осени.

Подобная угрюмость леса как нельзя более соответствовала и тем печальным, унылым речам, которые слышались под его оголенными вершинами.

Речь вели два человека – молодая девушка и молодой парень.

– Милый ты мой, милый! Дорогой мой! Ведь уезжаешь ты... – печаловалась девушка почти сквозь слезы, стоя прямо перед парнем

со сложенными на груди руками и глядя на него в упор.

Парень прислонился спиной к осиновому стволу и как будто злился:

– Уж что тут!.. – говорил он. – Ехать надо... и поедем... А слезами да ахами тут не поможешь...

Девушка помолчала.

– Сама знаю, что не поможешь... Какая уж тут помощь – слезы! – сказала она несколько спокойнее и отирая кулаком наворачнувшиеся на глазах слезинки. – А все же уж очень мне не по себе и нудно, как вспомню, что вот и осень, и зиму, а там и весной до Николы придется прожить без тебя, Сидорка. Право же!

– Эк я для тебя малина с калиной, что уж без меня и прожить нельзя! – напустил на себя притворное удальство парень и хлопнул девушку по плечу. – Не грусти, Галя! Все будет складно да ладно – дай срок! Эк беда какая – уеду! Ну уеду – и приеду. Не век же я в Москве жить буду, не век же я там с Салтычихиными прихвостнями валандаться буду. К лету опять сюда, в Троицкое. И уж тогда во как заживем, Галя! Отдай да мало! А она нюни распускать!

Брось ты все это!

Девушка, по-видимому, успокоилась, но голос ее все еще дрожал, когда она начала возражать:

– Брось ты все это! Хорошо тебе говорить, парню, такие слова. Тебе что – надел шапку набекрень и пошел себе на все на четыре стороны. Куда, мол, хочу, туда и ворочу – всюду простор, что ветру вольному. А нашей сестре, девчонке, совсем не таково.

– А каково же?

– А таково же! Ты себе пошел, людей увидел, ну все и позабыл! С тебя как с гуся вода. Поди, и красавиц на Москве увидишь немало. А увидишь – дело известное, тебе не говорить стать, что из того будет-произойдет. А нашей сестре слезы, да горе, да ночи бессонные. Ты всегда меня на другую променять можешь.

– Вот уж это ты врешь, Галинка! – совершенно искренне возразил парень. – Никогда я ни на кого тебя не променяю! Ей-богу же не променяю!

Девушка печально усмехнулась:

– Божись больше – проживем дольше! Ваша речь, мужская, известна: пока до дела, так

язык-то весь в мочалу истреплете. Вам он не дорог.

– А и диво же мне, Галинка: откуда ты, в лесу живучи, понабралась столько разуму! – начал шутить парень.

– Соколу лес не диво, Сидорка. Аль только у вас на барском дворе и ума понабраться можно?

– Ну, у нас этого мало, ума-то не понаберешься. А вот насчет битья, да колотья, да кнутья – так этого у нас достаточно, вволю! – проговорил парень и вдруг, как будто что-то вспомнив, как-то тревожно оглянулся.

– Боязно и здесь, в лесу-то, парень? – спросила девушка, оглянувшись в свою очередь и сама.

– Вестимо: пуганая ворона и куста боится. А Салтычихин глаз, кажись, все и из-под земли видит. Ты вот, моли Бога-то, Галинка, что при барском дворе не живешь. Жила бы – ой-ой что увидала бы! Не проходит, девка, того дня, чтобы кому-нибудь здорово не досталось. Нашему-то брату, мужчине, и так и сяк. А уж бабам – беда просто! Бьет чем ни попадя: и скалкой, и вальком, и плетью. Онамедни

девку Агашку, прачку, в сажалку по горло в воду загнала. «Полощись, – говорит, – стерва, сама, коли полоскать белья не умеешь!» Та еле жива потом из воды вылезла: теперь лежит, не встает, да, поди, и совсем не встанет. Такая бедняга!

– Ишь у вас порядки какие завелись!

– У нас порядки этикие издавна ведутся. Аль не знаешь, неведомо тебе это?

– Не все, парень, ведомо.

Сидорка оглянулся и понизил, говоря далее, голос:

– Не обо всем и говорить-то можно. Ино и помолчать надо.

– Уж не потому ли вас там, на барском дворе, и дубасит Салтычиха, что вы все много помалкиваете?

– Смела больно! На вострый сук и вострый топор. Ты поди да поговори с ней, тогда и посмеивайся.

– Смеяться нечего, а, чай, на всяко дело свой суд есть. Питер не за горами – можно и до Питера дойти, до царицы.

– Поколь шагать, девка, будешь – всю спину изотрешь. А спина-то своя, не чужая, нет-

нет – и пожалеешь!

– Иструсился, вижу я, и ты, Сидорка, живучи на барском-то дворе, – заметила девушка со своего рода милой презрительностью.

– Плетью обуха не перешибешь, говорят добрые люди... А все же, Галинка, по ком плеть ходила, тому она долго памятна будет. А у меня к тому же и память хорошая. Все помню, коли спина чешется.

– Ужели же, Сидорка, и тебе доставалось? – спросила вдруг Галина голосом любящей девушки, глядя участливо на своего милого.

Сидорка тряхнул кудрями:

– Дело бывалое! Салтычиха никому спуску не дает. Доставалось и мне, сказать правду.

– Доставалось? – переспросила девушка.

– Доставалось!

– Ах, милый ты мой, милый! – проговорила с нежностью девушка, положив правую руку на плечо Сидорки. – Так и тебя терзала-мучила эта волчиха ненасытная?

– Уж как мучила-то – по смерть жизни не позабуду! Здорово встрепку задала! Лихо!

– За что ж это, скажи-ка?

– За баловство. Побаловал не враз.

– Ну?

– Правду сказать: маленько бы и стоило, да уж не так. А то ведь цельный месяц спины разогнуть не мог: и сесть нельзя, и лежать неспособно. Так стоя и спал.

– Бедный Сидорка!

– Вот истинный Бог!

– За что же?

– Говорю: за баловство. У ейной любимой собачки – околела уж, такая паршивая была – я, вишь ты, шерсть маленечко поощипал. Привязал ее к плетню – и ну щипать. Собачонка визжит, ребята хохочут. Чудно таково! Ну и вышло...

Девушка медленно сняла руку с плеча парня.

– А ведь это нехорошо, Сидорка, – кротко упрекнула она парня, – щипать ни за что, ни про что собачонку. За что ты ее щипал? Кусала она, что ли?

– Нет, да уж больно паршивая была.

– Нехорошо, – повторила еще раз девушка.

– За то и отбарабанили.

Девушка молча поглядела сперва на парня, потом куда-то в пространство, а потом, поду-

мав, заметила:

– Какие вы все там злые!

– Будешь зол! – вдруг как бы обиделся Сидорка. – Будешь зол, когда с утра до вечера только одно и видишь, что битье да битье. Так-то немудрено и зверем стать. Вон Акимка... Какой паренек был – любо-дорого! От вас, из сторожки, пришел – на парня налюбоваться не могли, а теперь таким волчонком стал, что хоть бы опять в лес, да не к вам, к деду Никанору, а в волчью сурчину. Палач палачом.

– Правда? – удивилась девушка.

– Врать не стану. Сама, поди, узнаешь. Как поступил в кучера, так всех, как лошадей, и хлестать зачал. Вестимо, воля не своя... А все же...

Сидорка махнул рукой: не стоит, мол, об этом и говорить – понятно.

– А ведь я с ним росла, с Акимом-то, – начала рассказывать девушка. – С ним играла, по лесу бегала, землянику собирала, малину, орехи, грибы. Заберемся, бывало, в чащу, аукаемся, смеемся. Шустрый был мальчик и добрый, да только глаз у него был какой-то

чудной. Станет, бывало, супротив меня – и глядит, не трогается, словно его вкопал кто в землю. «Чего, – говорю, – Аким, глядишь?» – «А ничего, – говорит, – Галинка, глядеть хочется». И уставится в землю. Не любила я у него этих глаз. Что, и теперь они у него такие? Я его давно не видала, Акима-то!

– Ну, какие у него там глаза – не разглядел, а что насчет морды – очень уж разбойничья морда. Морда самая недобродетельная.

– Как же так изменился человек? И никто не знает, отчего он изменился? – недоумевала девушка. – А паренек был добрый. Я плакала, когда его увозили от нас, из сторожки. Батюшка тоже немало печаловался о нем. «Вот, – говорил, – помощника от меня и отняли! На что мне, – говорил, – девка? (Это про меня.) С парнем все веселей! Хоть он мне и не сын, приемыш, а все веселей». И точно – без него попервоначально скучненько было. Потом ничего, пообошлись, живем кое-как с батюшкой и по сей день. Только ты вот у меня и смутник один есть, Сидорка.

– Чево мне тебя мутить-то, Галина! Мутить мне тебя не с руки, да и не таковской я па-

рень, чтобы мне зазнобу-девочку мутить! – проговорил Сидорка несколько раздражительно, махнув рукой, а потом с унынием прибавил: – В омут бы головой мне теперь! Право слово, Галя, в омут!

Галя вдруг встрепелулась, как будто ее что-то ужалило.

– Ты что это? О чем? – заговорила она бегом, и в голосе ее зазвучала нежная и в то же время решительная нотка. – С чего ты это, парень, взял – в омут головой? Аль нам жизнь надоела? Аль уж мы не люди и повеселиться вовремя не сумеем? Эх, парень, махни на все рукой!

Галина хлопнула Сидорку по плечу, тряхнула головой. В этих ее движениях проглянуло сразу что-то цыганское, дикое. Она сразу как будто вся изменилась, стала иною. Прежней, несколько плаксивой, как казалось, девушки будто не бывало. Лицо ее запылало, глаза вспыхнули, все тело вздрогнуло.

Приунывший было Сидорка под влиянием ее оживления оживился и сам.

– Цыганочка ты у меня, Галя! – воскликнул он, улыбаясь во все лицо удало и сладко, как

человек, вполне сознающий в данное время свою силу. – Право, цыганочка!

– Цыганочка и есть! – согласилась Галина. – Чай, сам знаешь, кто я такая.

– Как не знать! Все знают, что мать твоя цыганка была. Вишь, глазищи-то у тебя какие! Э, черт этакой! – вдруг вскрикнул задорно парень и смело обхватил Галину одной рукой за стан.

Девушка не сопротивлялась, стояла на одном месте, но мгновенно повернула голову в сторону.

– Тише ты! Постой! – сказала она тревожно, к чему-то прислушиваясь.

– Чево там еще? Аль зазналась?... Впервой, что ли?..

Сидорка бестолково захохотал.

– Тише ты, дурень! Говорю, тише! – остановила его Галина.

И вдруг она что было силы толкнула парня в сторону, прошептав:

– Беги, черт этакий! Барыня едет! Эк как нас на дорогу вынесло!.. Нашли место!...

Сидорка испуганно, ничего не соображая, шарахнул в лесную поросль.

Но было уже поздно.

В нескольких саженьях от того места, где вели прощальную беседу влюбленные, показалась маленькая тележка в одну сытую лошадку, с кучером. В тележке сидела женщина лет за тридцать, плотного сложения, довольно еще красивая для своих лет. Она, как выслеживающая свою добычу орлица, держала голову несколько вполуборот в ту сторону, где стояла Галина, и, сжав толстые губы, прямо и холодно глядела на девушку. Тележка бесшумно, но быстро приближалась к Галине.

– Стой! – грозно крикнула барыня хриплым голосом, когда тележка поравнялась с девушкой.

Тележка так же бесшумно, как ехала, стала.

– Чья шлюха?.. Никанорова?.. – начала барыня, не спуская глаз с девушки.

– Так точно-с, Никанорова буду, – отвечала девушка тихо, но смело.

– Вишь, выросла как, дубина какая! В прошлом году щенок щенком была. Годов сколько?

– Семнадцать.

– И, поди, семнадцать таких же вот молодыхцов, кой сейчас шмыгнул в кусты?

Девушка молчала, опустив глаза, и мяла правой рукой кусок какой-то тряпицы, изображавшей передник. Сердце ее билось. Она чувяла грозу.

Встреча с барыней, с Салтычихой, как ее прозвали крепостные, и при более благоприятных условиях никогда не предвещала ничего хорошего. Все по возможности избегали с нею встречи и нередко просто прятались при ее появлении. Салтычиха знала это и всегда принимала меры, чтобы заставить всех и всякого врасплох. Она ездила тихо, ходила еще тише, переодевалась в разные одежды и в итоге достигала того, что являлась всюду, по пословице, как снег на голову.

На этот раз Салтычиха была еще к тому же почему-то не в духе. Беда над головой девушки висела неминуемая.

– Что же молчишь-то? – крикнула Салтычиха. – Аль язык отнялся? Отвечай! С милым, поди, голубкой ворковала, ласточкой щебетала, говорила не наговорила, да еще разок-другой сюда прибежать обещалась! Кто

он, прохвост-то твой? Говори! Сама не разглядела, так, думаю, девочка, по доброте своей все мне о нем расскажет! Любопытна уж я очень, все знать-ведать хочу, красавица! Ну, кто?

– Не знаю... прохожий какой-то... дорогу спрашивал... – пробормотала Галина, вся дрожа.

Салтычиха зло разорялась:

– Ну, ты ему, красавица, дорогу и указала?

– Указала.

– То-то он так рванул в кусты! – продолжала смеяться Салтычиха. – Поди, обрадовался, что дорогу-то нашел.

Она рассмеялась еще злее, как-то тихо, с хрипотой, и привстала на тележке.

– Подь-ка сюда, ко мне, красавица... да поближе.

Галина подошла.

– Так не знаешь? – спросила с каким-то шипением в голосе Салтычиха.

– Не знаю, – упорно отвечала девушка.

– Акимка, дай-ка мне кнут! – приказала бабыня.

Акимка, тот самый Акимка, о котором

только что вели речь Сидорка с Галиной и который был приемышем отца Галины и другом ее детства, медлительно, даже совсем-таки нехотя подал Салтычихе свой кнут, а сам отвернулся и стал чего-то возиться над сиденьем.

Между тем кнут, взвившись тонкой змейкой, мелькнул раз-другой в воздухе. Казалось бы, после этого должен был раздаться крик, стон, мольба... Но нет – этого не было: под хмурыми, оголенными вершинами леса не раздалось ни крика, ни стопа, ни мольбы...

Девушка стояла на одном месте, стояла не шевелясь, тихо и покорно. Она даже не дрогнула ни одним членом своего тела. Стояла – и только...

Глава II

Ослушник

Дружная семья рослых многолетних сосен словно бы для того только и расступилась и раздвинулась, чтобы дать место сторожке полесовщика Никанора.

Сама по себе сторожка не представляла ничего привлекательного, заманчивого: это был самый обыкновенный сруб в три окна, с крыльчком, без всяких украшений. Не было даже обыкновенных в русских избах коньков над крышей или какой-нибудь мазни на ставнях. Впрочем, и ставень-то в сторожке не было. Стояла себе сторожка одна-одинешенька, как сирота, и, как сирота, выглядела печально и подслеповато.

Но эту сторожку любил полесовщик Никанор, и ни за что бы не решился променять ее не только на хорошую, красивую избу в селе, но даже и на каменные палаты в Москве.

Вот он и сам вышел из сторожки. На нем суконный, смурый кафтан с кушаком, на голове шапка-зимогорка, на ногах смазные са-

поги, в руках старое ружье. Идет он походкой медленной, ровной, точно прислушивается ко всему, приглядывается – это привычка к лесной жизни, привычка быть осторожным. Ему хорошо известно: в лесу жить – по волчьей выть. Никанору на вид лет за пятьдесят, но он еще бодр и здоров. Большая седая борода окаймляла его довольно еще свежее лицо и покоилась на широкой груди, на которой, как говорится, хоть рожь молоти. Вообще Никанор был из тех, о которых в народе говорят «это старого леса кочерга».

Невзирая на свою наружную суровость, Никанор был добр и незлобен чрезвычайно. Глядя на этого человека, никто бы не поверил, что он в полном смысле слова и мухи не обидит. Он и точно никогда никого не обижал: не обижал тогда, когда был дворовым, не обижал и тогда, когда сделался полесовщиком – настоящим человеком леса, угрюмым на вид и даже с ружьем в руках. Все крестьяне сельца Троицкого любили его за это, не заглядывали с недоброй мыслью в лес, и поэтому он у него находился в образцовом порядке. Была довольна Никанором даже сама грозная

Салтычиха, которая, как говорится, и на солнце видела черные пятна. Ружье с собой Никанор носил только для «прилику», для страху: он из него почти никогда не стрелял.

Вышел Никанор из своей сторожки, поглядел направо, поглядел налево – и громко, как-то странно крикнул:

– Го-о! Го-о!

«Го-о!» пронеслось по лесу эхо и где-то затерялось, застыло в отдалении.

Это был обычный у Никанора возглас, которым он призывал бродившую по лесу дочку. Обыкновенно дочка откликнулась: «Ау, тятка!» – и шла домой в сторожку.

На этот раз она не откликнулась.

«Эк запропастилась!» – подумал Никанор и, постояв в ожидании, не откликнется ли она, снова крикнул.

Снова откликнулось эхо. Но дочка не откликнулась.

Никанор медленно пошел по дороге, вовсе не заботясь о том, что в сторожке, кроме старого кота, никого не осталось: там человеку, желающему воспользоваться чужим добром, нечего было брать. Никанор был беден и даже

не скопил ничего для дочки: у отца с дочерью только то и было, что они носили на себе – роскошь уж совсем-таки необходимая. Терпкая бобылья жизнь приходилась как-то по вкусу и отцу и дочери.

На каком-то повороте дороги Никанор совершенно неожиданно встретил тележку барыни, а вместе с тем и свою дочку, которая медленно шла за медленно двигавшимся экипажем Салтычихи.

При первом же взгляде на барыню и на свою дочку Никанор догадался, что произошло что-то неладное. Салтычиха была красна, как свекла, дочка его, Галина, наоборот, была бледна и шла за тележкой той нервно-сдержанной походкой, неровной, беспокойной, которая особенно свойственна женщинам открытого характера.

«Быть грозе», – подумал Никанор и с низким поклоном приветствовал барыню.

Та немедленно спросила:

– Все ли у тебя в порядке, старый сыч?

– В порядке, матушка-барыня, в порядке, – залепетал полесовщик. – Все в порядке по милости вашей, матушка-барыня.

– А не врешь, старая крыса?

Полесовщик растерялся. Он посмотрел сперва на барыню, потом на дочь, потом на кучера Акима, словно бы ища в них какой-либо опоры. Но все как бы окаменели в своем молчании, и он понял, что барыня хочет на чем-то его изловить, уличить его. Ему стало жутко.

– Матушка-барыня! – простонал он. – Казни, милуй, а я ни в чем не повинен!

Он низко поклонился барыне, и в то время, когда поднимал голову, глаза его невольно встретились с глазами дочери. Какой-то нехороший, перебегающий огонек заметил он в них и тут же решил, что «все это из-за дочки».

Одновременно и Салтычиха пристально, почти пронзительно глядела на растерявшегося полесовщика.

– Аль тебе невдомек, о чем речь-то? – прошипела она, все еще не отрывая глаз от полесовщика.

– Матушка, невдомек! – почти вскрикнул полесовщик, в самом деле не понимавший, чего хочет от него барыня, хотя и догадывавшийся, что во всем этом замешана дочь.

– Невдомек? Вишь, какие у меня мужики стали недогадливые! – прохрипела Салтычиха, а потом, почти успокоившись, приказала: – Повороти-ка оглобли назад, веди в свою сторожку! Авось там посмышленнее станешь.

Приостановившаяся было тележка снова тронулась вперед.

Салтычиха, по-видимому, успокоилась и даже без свойственного ей всегдашнего озлобления расспрашивала Никанора по хозяйственной части, касавшейся преимущественно леса: сколько заготовлено дров на зиму, много ли было ягод и грибов и усердно ли то и другое собирали девки, нет ли медведей и тому подобное. Никанор, идя рядом с тележкой, без шапки, удовлетворительно на все отвечал, но голос его дрожал, и он чувствовал, что сердце его сжимается болью и даже как будто подкашиваются ноги: Никанор при всей своей видной, богатырской наружности не мог похвастать смелостью. Несколько раз украдкой он взглядывал на дочь, но та намеренно не замечала его взглядов и шла за тележкой с выражением на лице невольного напряжения. Все это еще более пугало Никанора.

нора.

Когда тележка остановилась у сторожки, Салтычиха с помощью Акима и Никанора медленно вылезла из нее и потребовала скамейку. Скамейка тотчас была принесена. Аким положил на скамейку подушку – и барыня села, поставив ноги тоже на подушку, которую Аким, зная свое дело, расторопно подсунул ей под ноги.

Минут пять Салтычиха сидела молча, медленно дыша и неторопливо оглядываясь вокруг. Потом она остановила взгляд на поле-совщике.

– Ну, я к тебе, Никанор, – сказала она злобно, – в гости... Аль не рад?

Никанор закланялся:

– Рад, матушка-барыня! Рад!

– А рад, так угощай. Гостья я у тебя редкая.

– Матушка-барыня! – только и мог воскликнуть Никанор.

– Ну, коль ты не хочешь – пусть угостит дочка, она на угощенья горазда. Ну, куропатка, угостишь? – обратилась Салтычиха уже к Галине.

Галина с мертвенной бледностью на лице

молчала, но в глубине глаз ее сверкала какая-то искорка, которая не предвещала ничего хорошего.

Салтычиха продолжала злорадствовать, видимо наслаждаясь смущением девушки:

– Отвечай же – угостишь? Аль скупа для барыни стала? И то, ведь я не добрый молодец – баба, для меня и поскутиться можно. Эх я дура старая! И не догадалась о том ранее, не додумалась! – Салтычиха на мгновение смолкла и вдруг зарычала каким-то удушливым голосом, как будто на горле ее пробовали крепость веревки: – Так не скажешь, кто он-то, твой добрый молодец?

– Не скажу! – ответила твердо Галина и вызывающе взглянула на Салтычиху.

Салтычиху будто ошарашил кто: она сидела на своей подушке ни жива ни мертва от злости. Такая смелость со стороны девушки, по ее взглядам, превышала всякое вероятие, это для нее было нечто невозможное, невысказанное, нечто такое, чего она не могла даже никогда допустить. Взглянув на барыню, и Аким и Никанор перепугались до невероятности. Бедный полесовщик просто готов был

провалиться сквозь землю. Он переводил свой блуждающий взор с барыни на дочь и ничего решительно не понимал, но чуял, что над ним висит гроза неотразимая, а сердце его ныло и замирало ежеминутно.

У Салтычихи натура была чудовищная, и голосом своим она владела, как владеет хорошая баба вальком. Совершенно тихо, даже как будто ласково, она, помолчав и отдышавшись, обратилась к Никанору:

– Вишь, какая твоя паскуда неблагодарная: к ней барыня честь честью, а она – нос на полати! Не хочу, мол, вас и знати! Ну что ж! Меня, бедную вдову, всякому обидеть легко – на то я и вдова! – дурачилась далее барыня. – Ведь так, Никанор?

– Матушка-барыня, помилуй! – взмолился Никанор.

– Что ты, что ты, родной! Да ты передо мной ни чуточки не виноват! Вот дочка – дело другое. Дочка меня обидела. Дочка передо мной виновата.

Галина вдруг сделала движение:

– А коль виновата я, так и бейте меня, так и казните меня! Вот я вся тут, какая есть, вся

перед вами стою! Бейте меня, казните меня!

Голос ее на последнем слове оборвался, и дышала она тяжело и порывисто, и озиралась кругом, как пойманный зверек.

– Чего так взметалась, красавица! Пообожди! На все свой черед! – остановила ее порыв Салтычиха. – Вот теперь черед за Никанором. Никанор! – обратилась она к полесовцику. – А ну-ка скажи, лысый бес, не знаешь ли того добра молодца, какой к твоей дочке, к твоей королевишне писаной по дням, а то, может, и по ночам ходит-бродит, сладки речи заводит? Аль не знаешь такого?

Никанор всплеснул руками.

– Дочка! – вскрикнул он, обратившись к Галине не то с жалобой, не то с упреком, и опустил голову на грудь.

– Ах, старый пес, черт те наворот! И он туда же за дочкой! В бирюлечки играет, тоже незнаюшку из себя ломает! – ехидно воскликнула Салтычиха. – Ну из тебя-то я, старая скотина, весь сор повытрясу! Ну, говори: кого такого твоя потаскушка в темном борочке на бугорочке частенько поджидает, устали не знает? Кого?

– Матушка-барыня, – взмолился Никанор, – убей на месте – не знаю, не ведаю!

– Ой, правда ли то, старина?

– Не знаю, не ведаю! – мог только повторить Никанор, и в самом деле ничего не знавший о том, что его дочка завела себе ясного сокола.

– Батька ничего не знает, – глухо проговорила Галина. – Он о моем грехе не ведает.

– Ну, ин быть так: не знает и не ведает, – как бы смягчилась несколько Салтычиха. – Мы дело повернем на иной толк. Как же так ты, лысый бес, не знаешь о том, что делает твоя дочка?

– Казни, милуй, матушка-барыня, повинен, во всем повинен! – закланялся Никанор.

– И то дело: повинную голову и меч не сечет. Теперь я у тебя спрошу, старый хрен: ты отец?

– Отец, матушка, отец!

– А коль отец и заповедь Божью помнишь, то и спроси дочку: с кем она сегодня, с часок тому назад, на дорожке в лесу стояла, ясной голубочкой ворковала? Спроси-ка: с кем?

Никанор несколько приободрился. Он

знал, что дочь любит его, и совершенно был уверен в том, что на его вопрос она ответит искренне, не солжет.

– С кем, дочка, скажи? – обратился старик к дочери. – Скажи, коли была?

– Была! Точно что была, батюшка! – заговорила девушка дрожащим, гортанным голосом. – А уж с кем – не скажу и тебе. В другое время сказала бы, не утаила – я никогда ничего от тебя, отец, не таила, – а теперь утаю, не скажу! Так и знай!

– Вот это девка! – воскликнула Салтычиха таким голосом, что у полесовщика мороз по коже пошел. – Умеет грешить, да умеет и ответ держать! Ну а ты, старина, – обратилась она к Никанору, – умеешь кнут в руках держать?

– Матушка! – вскричал тот.

– Умеешь?

– Помилуй!

– Аким! Дай-ка ему кнут, пусть поучит дочку-то при мне. Погляжу, какова будет отцовская наука! Может, и лучше моей.

Аким завозился в тележке, что-то неохотно отыскивая. А старик тем временем бухнул-

ся Салтычихе в ноги, и взмолился:

– Уж повели лучше, матушка-барыня, поучить меня, старого дурака! Стою я того!

– Поучу и тебя! А ты дочку-то сперва поучи!

– Матушка, не под силу мне это!

Салтычиха привстала:

– Не под силу?!

– Не под силу! Не подниму я руки на дочку на свою, на свою кровь! Не подниму, матушка-барыня!

Несколько мгновений Салтычиха молчала. Она была вне себя. Озлоблению ее не было предела.

– Аким! – приказала она каким-то неестественным, захлебывающимся голосом. – Отдубась эту старую лисицу чем попадая, да не жалей! Пусть одумается!

Салтычиха медленно и тяжело дыша села опять на подушку и в ожидании расправы сжала от злости свои толстые, мясистые губы.

Аким медлил.

Вдруг Галина тряхнула головой, точно на ее голову упала змея.

– Нет, барыня!.. Пстой!.. Того не будет!.. Не

будет! – вскричала она порывисто звучным, гортанным голосом, в котором сказалась вся ее цыганская, дикая натура.

Вскричала и, растопырив руки, смело и судорожно шагнула к Салтычихе.

Глава III

Под шум непогоды

Встала и шагнула к Галине и сама Салтычиха. Произошло то, что и должно было произойти: тигренок уступил место тигрице. Бой, ежели бы он мог произойти, был бы слишком неравен. На стороне Салтычихи было все: и власть, и личная физическая сила, и привычка повелевать, и жестокость. На стороне девушки было одно желание спасти ни в чем не повинного отца, защитив его своим телом, и еще ненависть, которая, собственно, и породила в ней отважность.

Девушка отступила. Невыразимый страх овладел всем ее существом, когда глаза ее, влажные, сверкающие ненавистью, встретились с сухими, покрасневшими до белков глазами Салтычихи. Бедная девушка чужа, что

не отступи она – Салтычиха растерзала бы ее, как котенка. И точно, это бы произошло. Салтычиха обладала цепкими, сильными руками, привычными ко всякого рода расправам. Она при таких условиях задушила бы и более здорового человека, чем Галина.

Испугавшись своей отважности, девушка закрыла лицо руками, а слезы так и брызнули у нее из глаз. Она рыдала и ждала, что побои тотчас же посыплются на нее; она даже желала их, как какого-то за что-то искупления. Но произошло нечто странное, нечто неожиданное, почти ничем не объяснимое: Салтычиха, постояв с минуту на одном месте, медленно опустилась на подушку и так же медленно вздохнула – вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору.

– Ну! – произнесла она почти спокойно, обращаясь к Никанору, лежавшему на земле ничком без движения. – Встань-ка ты, подымись! Что валяешься, как падаль на задворках? Аль душа в пятки ушла? Коль ушла – врати ее на старое место. На первый раз прощаю тебе, старому сычу, твою провинность –

ослушание. Только гляди, чтоб больше этого не было: в другой раз не пожалею твоей старой спины, как теперь, – так-то отхлещу... Ну вставай же, не бойся!

Никанор медленно поднялся с земли.

– Милостивица! Матушка! – пролепетал он с умилением и чуть опять, кланяясь, не упал на землю.

– Да прощаю уж, кстати, и дочке, – продолжала Салтычиха. – Пусть ее гуляет с молодецком! Коли мой, троицкий, как-нибудь и замуж выдам. Только она у тебя, старичина, никак хворающая: у ней не падучая ли? Отведи-ка ее в сторожку да уложи, пусть отлежится. А этак к Казанской приводи ее ко мне, на Москву, пусть к делу привыкнет. Довольно ей погуливать-то да ворон в лесу пугать – пора и на людей поглядеть, себя показать. А показать есть что: вишь, из себя какая складненькая да ровненькая – словно березка по весне, так вся и трепещется. Иди-ка, голубонька, да поотлежись, – обратилась Салтычиха уже к Галине. – Да уж не взыщи, что пуганула тебя маленько. Нравная я – ни за что ни про что девку выбрала. Экая я несуразная! – заключила Салты-

чиха и закачала, будто о чем-то сожалея, головой.

Всю эту долгую не то насмешливую, не то ласковую речь Салтычихи Галина слушала как во сне. Ей и верилось и не верилось тому, о чем только что говорила барыня. Неужто она смиловалась? Неужто она простила ее? Да может ли это быть! Ведь про барыню такие нехорошие слухи идут, столько страшно-го говорят про нее. А может, люди и врут; ведь так часто люди говорят неправду, так часто взводят на человека то, о чем тому и во сне не снилось.

Между тем Салтычиха сидела все с тем же странным спокойствием и, казалось, все более и более принимала участие в девушке, совершенно не понимавшей, как, собственно, глядеть на барыню: как на врага, который, сознавая свою силу, только тешится смущением и боязнью своей жертвы, чтобы после этого еще более упиться наслаждением мести, или же как на благодетельницу, которая только на минуту перед этим, уступив злым побуждениям своего сердца, в свою очередь увидела в ней, в девушке, врага и на этом ос-

новании и поступала с ней, как с врагом.

Девушка подчинилась последнему чувству. Пылкая от природы, но доверчивая и притом совсем не знавшая ни жизни, ни людей, где так много искусственного, лицемерного, она верила первой ласковой улыбке, первому ласковому слову. Поверила она и ласковости Салтычихи и, поверив, само собою разумеется, взволновалась чувством благодарности, которое выразилось тем, что она, подобно отцу, бросилась барыне в ноги и воскликнула в избытке благодарности:

– Барыня!.. Голубушка наша!.. Не обессудь, что сказала тебе слово неразумное! Прости!

Голос девушки звучал такой искренностью, такой нежностью, что невольно привлекал к себе и заставлял пожалеть, полюбить эту добрую девушку. От нее веяло той невинностью, которая свойственна только милому, капризному ребенку.

Бывают минуты, когда и самые жестокие сердца, самые злейшие люди чувствуют какую-то безмятежность, смягчаются и прощают другим то, чего бы они при других обстоятельствах никогда не простили.

Такие минуты нашли на Салтычиху. Она вдруг как бы переродилась: лицо ее, почти всегда дышавшее злым выражением, прояснилось широкой улыбкой, глаза сверкнули ласковостью. Она, видимо, успокоилась.

Несколько мгновений с этой доброй улыбкой, с этой ласковостью глаз она смотрела на лежавшую у ног ее девушку.

Чутким девичьим сердцем Галина угадала, что барыня простила ей, что она уж больше не в опале, и, в свою очередь, не успевшими еще осушиться от слез глазами посмотрела на Салтычиху – посмотрела невинно и доверчиво, как смотрит дочь на любимую свою мать. И точно, в данную минуту Салтычиха и Галина представляли своеобразную, оригинальную картину – мать, примиряющаяся со своей дочерью. Это было так естественно, так просто, что в душевной своей простоте загляделись даже на них, – по-своему, конечно, – и кучер Аким и полесовщик Никанор. Поразила и их доброта Салтычихи – доброта, которой они, может быть, давно уже не видали у барыни.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось,

если бы на дороге, ведущей к сторожке, не слышался вдруг стук конских копыт. Видимо, кто-то торопился прямо к тому месту, где происходила только что описанная выше сцена.

Салтычиха прислушалась.

– Аль едут? – спросила она, по обыкновению подняв настороженно голову.

– Едут, матушка-барыня, едут! – поторопился ответить Никанор.

– Кто бы? Узнай-ка!

Никанор кинулся в ту сторону, откуда слышался стук копыт, откуда кто-то торопливо подъезжал, и через минуту скрылся за деревьями; мелькнул только его смурый кафтан.

Салтычиха между тем положила свою руку на плечо девушки.

– Встань-ка ты, чего валяешься? – проговорила она, но уже не тем ласковым голосом, как прежде, но с оттенком некоторой нетерпеливости.

Девушка медленно встала.

– Ах, барыня, барыня! – тихо произнесла она, полная чувством благодарности, все еще не спуская заплаканных глаз с Салтычихи.

– Погоди радоваться-то, красавица! – осадил

ла ее сразу Салтычиха. – Подле огня обожжешься, подле воды обмочишься. Нет ли возле того и другого.

Галина молчала. Ей никак не хотелось отрешиться от того чувства, которое только что внушила ей Салтычиха. Она все еще хотела видеть в ней добрую, справедливую барыню, все еще, вопреки слухам, которым сама она прежде верила и знала, что они справедливы, – все еще хотелось ей уверить себя в неблагодарности людей относительно барыни.

«Да врут люди, врут! – думала благодарная девушка. – Господами всегда недовольны – уж это дело известное, уж это всякий знает. Господа и справедливо накажут, а люди будут говорить, что господа их мучают, что господа их тиранят».

Так думала девушка, позабыв даже о том, что сама она при свидании с Сидоркой называла барыню «волчихой ненасытной». Благодарность, оказалось, брала верх над ненавистью. Люди, как говорится в народе, «с горячим сердцем» всегда способны на подобные быстрые переходы от одного чувства к другому.

му – от чувства ненависти к чувству любви. Женщинам это свойственно в особенности.

В голове Салтычихи промелькнули мысли совсем в другом роде.

«Вся в мать, чертова кукла, такая же оглашенная! – подумала она и тотчас же задала себе вопрос: – Кто бы такой мог ехать сюда в такую пору?»

Ей не нужно было долго ждать ответа.

На дороге показался всадник, сопровождаемый полесовщиком.

Это был красивый молодой человек, лет двадцати пяти, одетый в серую венгерку с черными жгутами. Он молодецки сидел на седле и, подъехав к сторожке, так же молодецки соскочил с коня и торопливо, с наклоном вперед всего корпуса, подошел к Салтычихе.

– Дорот! Дорот! Что вижу я? – воскликнул он, встав перед Салтычихой в какую-то театральную позу, изображавшую, как ему, вероятно, казалось, позу удивления.

– А что? – спросила та просто.

– Ты еще спрашиваешь, Дорот? Спрашиваешь? – продолжал, стоя все в той же позе,

приезжий – молодой инженер по фамилии Тютчев, который был очень близким человеком в доме Салтычихи.

– Отчего же не спросить, батенька?

– Удивительно! – воскликнул приезжий, растопыривая руки, что, вероятно, изображало еще большее удивление. – Удивительно и непостижимо! На дворе холодная осень, вокруг лес, небо хмурится, готов пойти дождь, а ты сидишь... сидишь на открытом воздухе!.. На открытом воздухе! – повторил он с особенным ударением и развел как-то особенно картинно руками.

– Э, батенька, Тютченька мой! Я ко всему привычна! – сказала Салтычиха. – Чай, не неженка какая, не франкмасонка! Про меня вся округа, вся Подоль, сам знаешь, такову речь ведет: «Где черту карачун, там Салтычихе здорово». Так-то, Тютченька мой!

– Фи, Дорот, что за речь!

– Простая, батенька, речь! Чиниться мне не для чего и не для кого! Тут все свои галманы.

– Галманы?

Тютчев поочередно, с какой-то своеобраз-

ной выдержкой во всей фигуре поглядел на всех присутствующих крепостных, стоявших, как и должно было быть, в почтительной позе. Помимо воли взор его несколько долее остановился на Галине, и легкая улыбка удовольствия озарила его красивое лицо.

– Кто сия? – спросил он у Салтычихи.

– Пила бы лиса молоко, да рыло коротко! – отрезала Салтычиха без всяких околичностей.

– Дорот!.. Фи!.. – воскликнул тот, к кому относились эти слова. – Право, я тебя не понимаю!

– Зато я тебя понимаю, Тютченька! – ухмыльнулась Салтычиха. – Девочка-то в прыску, ну ты и глазища выпучил, как баран, коего собираются резать.

– Дорот!

– Что за Дорот? Какая я Дорот! Говори просто – Дарья!

– Ну, Дарья... Дарья!

Салтычиха встала.

– А Дарья... так и трогаемся отселева восво-
яси. Я ведь сюда на час время. Хочу вот эту королевишну писаную, пташку лесную эту, на

Москву к себе взять...

– Резон подходящий... – вставил свое слово Тютченька.

– Дело известное: вам, мужланам, этакой кумач всегда подходящий! – заметила Салтычиха, трогаясь с места.

– Ах, Дорот!.. – воскликнул Тютченька и сделал какую-то странную гримаску, вскользь, из-под бровей снова взглянув на Галину.

Аким, подхватив подушки, завозился у тележки. Полесовщик взял под уздцы верхового коня.

– Ты уж не за мной ли? – спросила у Тютченьки, приближаясь к тележке, Салтычиха.

– Именно, именно за тобой, Дорот, мне надо передать тебе очень-очень нужное дело.

– Так едем. Садись-ка на своего одра. А я вот в тележку свою залезу, в тележке-то мне способно.

Аким помог барыне сесть в тележку и ловко вспрыгнул на козлы. Тютченька вскочил на своего «одра».

– Ну, старый хрыч, – обратилась Салтычиха к Никанору, все еще стоявшему без шапки

и с изумленным лицом, – не забудь, что я тебе сказала. На Казанскую чтоб лебедушка твоя была у меня.

– Будет, матушка-барыня, будет. Привезу.

– Да не забудь поучить маленько: неученых мне не надобно. А сама учить начну – может, и не поздоровится. Поучи.

– Поучу, матушка-барыня, поучу, как не поучить! – лепетал почти бессмысленно Никанор.

Тележка тронулась. Рядом с нею загарцевал и «одер» Тютчева.

– Прощай, королевишна! – прохрипела Салтычиха, обернув голову к Галине. – Поторопись ко мне-то... не забудь!

Галина не знала, что отвечать. Она стояла в каком-то забытии и даже не заметила, как молодой инженер, уловив удобную минуту, послал ей довольно выразительный воздушный поцелуй. Не заметила она и того, как кучер Аким искоса глянул на нее, как бы желая этим взглядом передать что-то для нее необходимое. В душе ее происходил какой-то невообразимый переполох.

Никанор без шапки, насколько доставало

его сил, побежал вслед за тележкой, скрылся вместе с нею, но вскоре возвратился усталый, весь в поту.

Галина уже сидела на скамеечке, закрыв лицо руками. Она ждала отца.

– Конец! Всему конец! – произнес Никанор каким-то упавшим голосом.

Галина медленно подняла голову.

– Что смотришь, дочка? Аль не разобрала, в чем дело? Не поняла?

– Не поняла, батюшка, – проговорила медленно Галина.

– А не поняла – тебе же все на голову падет. Горе тебе, дочка, неминуемое. Горе тебя ждет, дочка!

– Какое горе?

– Такое! Никогда и ни за что не простит тебе барыня того, что ты сделала.

Галина, помолчав, спокойно произнесла:

– Я и сама теперь так думаю. Не простит.

Отец и дочь молчали. В лесу, и без того уже темном, становилось еще темнее. Серые осенние тучи заволакивали небо, ветер пробегал по вершинам деревьев, и уже начал накрапывать мелкий, надоедливый дождик, извест-

ный под названием осеннего и бесконечного.

Отец и дочь вошли в сторожку. Там уже было темно, как ночью. Галина зажгла лучину, села у светца и задумалась.

– Думать нечего, дочка! – начал Никанор с какой-то несвойственной ему решимостью. – Надо дело делать!

– Какое? – почти машинально спросила Галина.

– Надо бежать.

– Кому?

– Тебе, дочка. Мать твоя бежала от беды, беги и ты.

Галина молчала, но лицо ее передергивалось какой-то странной судорогой, и, видимо, она на что-то решалась.

– Нет, батюшка, я тебя не покину, не уйду от тебя! – сказала она решительно глухим голосом.

– Стало быть, погибели ищешь, дочка?

– Зачем? Погибать мне еще рано.

Сильный порыв ветра пронесся в это время на дворе – и лес застонал и загудел, как бушующее море. Дрожала даже от порывов ветра и сама сторожка.

– Слышь, батюшка, как непогодь бушует? – начала Галина каким-то неведомым доселе отцу голосом. – Ну вот... бушует она, батюшка, ревет, стонет, гудит, что леший какой, хочет все порвать да изломать, ан и не может. Лес стоит себе да стоит. Может, и изломает она пяток-другой сосенок да березок, а все же остальной лес-то все будет стоять да стоять и долго, может, еще постоит да покрасуется на радость людскую. Так и в жизни нашей. Не все же падают от горя да от беды: кое-кто и живехонек останется да еще посмеется над горем да над бедой. Авось посмеюсь над ними и я, батюшка. Волков бояться – в лес не ходить. А мы, батюшка, в лесу живем. Лес нам не диво.

– Эх, дочка, дочка! – закачал головой Никанор. – Кабы твоими устами да мед пить.

– Меду, пожалуй, батюшка, и не будет, – удало, по-цыгански тряхнула головой Галина, – а что уж кашу заварим, так уж заварим кашу крутую! Вот увидишь, батюшка!

И Галина вдруг повеселела. Начала утешать отца, начала смеяться, топать ногами, запевать какие-то непонятные песни. Каза-

лось, только одна радость да веселье и ютятся под этой убогой, нахмуренной кровлей.

Ах, великое дело, братцы, юность!..

Глава IV

Малиновый домик

Великие события обыкновенно чередуются с маленькими, чаще всего с ничтожными, имя которым легион. Насколько первые обращают на себя внимание, настолько вторые до того обыденны, что никому до них нет никакого дела, кроме, разумеется, того, кого они близко касаются. Первые записываются историей, переходят из уст в уста, служат предлогом для споров, догадок и умозаключений. Вторые – на веки вечные остаются в темноте и никогда никого не занимают, кроме, разумеется, опять-таки того, кого они близко касаются. Между тем они, эти маленькие события, и составляют суть обыденной жизни человеческой – все тех же маленьких людей.

Тридцатого ноября 1729 года девятнадцатилетний император Петр Второй торжественно обручился вторично с красави-

цей-княжной Екатериной Алексеевной Долгорукой, сестрой известного фаворита своего, князя Ивана Долгорукова.

Москва гудела колоколами. Во дворце все радовались и поздравляли обрученных.

Радовался в тот день и один маленький человек, довольный своими маленькими делами.

Отставной сержант Преображенского полка Николай Митрофанович Иванов только что повенчался с любимой девушкой и искал для будущих своих радостей теплое и удобное гнездышко. Он хотел купить для себя и для молодой своей супруги домик. Домик такой нашелся, и нашелся именно в таком роде, как желалось и ему и его красавице жене.

В одном из тупичков Сивцева Вражка давно уже обращал на себя внимание и соседей и всех проходящих своей миловидностью и красотой домик в два этажа, деревянный, на каменном фундаменте. Он весь был выкрашен в яркую малинового цвета краску и окружен был весь довольно обширным садом, что весной и летом, когда сад цвел и зеленел, придавало домику какой-то странный и вме-

сте с тем необыкновенно привлекательный вид. Так и хотелось зайти туда, осмотреть все, полюбоваться, повидать тех счастливых людей, которые обитают в нем.

Но счастливых людей в малиновом домике не обитало до тех пор, пока не приобрел его отставной сержант Иванов.

Там жил до сержанта какой-то старичок лет восьмидесяти, угрюмый, нелюдимый, носивший всегда платье темно-малинового цвета. Так он и был известен в околотке как Темно-малиновый старичок. Да еще называли его масоном. Говорили, что в его малиновый домик раза два в год наезжали отовсюду какие-то люди на своих лошадях, богатые, хорошо одетые, и проживали там по нескольку дней. В это время ворота в доме запирались наглухо и отпирались только для крайних надобностей, ставни закрывались и выпускались на двор чересчур уж здоровые псы, вопреки собачьей породе мало лаявшие, но зоркие, смелые и злые. В такое же время почти никто не любопытствовал знать, что происходит в домике, хотя любопытных было немало. Весь домик погружался в какую-то мертвен-

ную тишину. Только однажды, уж бог весть по какому поводу, глухой осенней ночью из домика выбежала с криком женщина и куда-то мгновенно скрылась. После один из соседей малинового домика рассказывал, что он женщину эту хорошо видел, что она была молода и, должно быть, не из простых. Кроме того, ему удалось даже подсмотреть, что в домике в тот день внутри ярко горели восковые свечи и какие-то люди, все в черном, в каких-то высоких колпаках, носили вокруг стен большой гроб. Все это пугало соседей, но тем не менее малиновый домик оставался привлекательным. Наконец в одно серое сентябрьское утро все соседство малинового домика как-то сразу узнало, что Малинового старичка и масона не стало. Немедленно приехали какие-то молодые родственники, муж и жена, торжественно похоронили старичка, причем соседи заметили, что за гробом его шло немало знатных особ. Новые владельцы малинового домика прожили в нем всего только два месяца и как-то быстро в одно утро выехали из него. Стало известно, что малиновый домик продается.

Отставной сержант Преображенского полка Иванов, весьма естественно, пленился таким привлекательным домиком и немедленно приобрел его, тем более что владелец малинового домика продал его не только дешево, но даже как-то охотно и торопливо, точно он сбывал ненужную и надоевшую ему вещь. Сперва это несколько удивило отставного сержанта, но потом он рассудил, что не только даровому, но и дешевому коню в зубы не смотрят, и на этом основании не дал своему удивлению простора.

Приобретение сержантом малинового домика совершилось как раз 30 ноября 1729 года. Вот почему Иванов, помимо радости, какую ему доставляло как бывшему хорошему, честному служаке императора Петра Первого обручение его сына, радовался еще и своей собственной удаче.

В несколько дней сержант сделался полным и окончательным обладателем малинового домика и немедленно перебрался в него. Малиновый домик с садиком, невзирая на снежный декабрь, как будто еще более повеселел. Среди обрамленных инеем деревьев до-

мик выглядел теперь еще более уютным, еще более грациозным. Он казался приютом какой-то феи-волшебницы зимы, которая по какому-то странному капризу избрала себе это местопребывание среди других, таких сереньких, таких невзрачных домиков.

Супруги своим гнездышком не могли нарадоваться.

– Достойный всякого внимания домишко! – говорил десятки раз на дню отставной сержант, заглядывая во все углы домика, все ощупывая, все примеривая.

– Хорошо... Ах как хорошо! – вторила ему молодая супруга, тоже дочь сержанта, сослуживца Николая Митрофановича, Ироида Яковлевна.

Супруги обменивались ласковыми взглядами, а затем следовало то, что обыкновенно бывает между молодыми супругами, – поцелуи.

Кое-что, однако, относительно домика, отставной сержант благоразумно утаивал от своей молодой супруги.

Обходя домик, заглядывая во все его углы, он неожиданно натыкался на такие вещи, ко-

торые могли изумить всякого. То он на стенах находил какие-то странные, непонятные надписи. То видел там и сям изображения каких-то фигур и фантастических птиц, раскрашенных яркими красками. То находил какие-то огромные железные кольца и костыли. В одном темном чулане он наткнулся даже на крышку гроба, на которой были тоже какие-то изображения, сделанные черной краской.

Петровский служака, отставной сержант, был не из робких. Все это его нисколько не испугало, не заставило призадуматься. Решив, что, должно быть, старый хозяин домика дурил от нечего делать, он самолично надписи и фигуры замазал, железные кольца и костыли выкинул, а крышку гроба сжег.

Таким образом, молодая Николая Митрофановича не узнала о тех таинственных вещах, которые ему попались на глаза и которые, несомненно, испугали бы молодую супругу.

Жизнь молодых потекла своим чередом. Супруги были люди невзыскательные, и потому дни их проходили ровно, спокойно, тихо.

Один день походил на другой, как походит одна капля воды на другую. Не было ни размолвок, ни ссор, хотя характеры их были почти противоположны. Но эта противоположность, вероятно, и была причиной их мирной, безропотной жизни.

Отставной сержант, смелый и неуступчивый на службе, молодец среди мужчин, в домашней жизни с молодой женой вел себя необыкновенно сдержанно, даже, можно сказать, покорно. Все делалось так, как угодно было Ироиде Яковлевне, или Ирочке, как называл ее ласкательно Николай Митрофанович. Она в доме всем правила, всюду следила, на все налагала свой гнев или свою милость. Николай Митрофанович почти ни во что не вмешивался. Он только курил свою трубку-носогрейку, курил почти целый день, так как табак в то время благодаря указу Петра Второго о свободной его продаже всяким быстро входил во всеобщее употребление и сделался сразу весьма дешев.

Несколько крутой и предприимчивый характер Ироиды Яковлевны обнаружился без всяких проволочек. Дочь сержанта, невзирая

на свою молодость, и не думала скрывать от мужа, кто и что она. Она сразу заявила, что она «молодайка-бой» и спуску никому не даст.

– И не давай! – согласился с ней муж.

– И не дам! – смеялась Ирочка.

– И мне тоже?

– Ну уж тебе – куда ни шло! Тебе кое-что, а то и все простить можно. Ты на то и муж.

– Вот это женка! – восклицал сержант. – Так любишь?

– Тебя да не любить?! – было ответом сержанту.

Ироида Яковлевна и точно любила, и любила крепко, своего молодца-сержанта.

Время между тем шло – шло, как всегда оно идет: для кого быстро, для кого медленно, для кого оно летело птицей, для кого ползло червяком. Для наших молодых оно летело птицей.

Летели птицей и более серьезные, исторические события.

В 1730 году, в день Крещения, молодой император простудился, а 19 января его уже не стало. Члены Верховного тайного совета из-

брали на русский престол, но с ограничением власти, Анну Иоанновну, дочь царя Иоанна V Алексеевича, от брака с Прасковьей Федоровной Салтыковой. 9 февраля Анна Иоанновна прибыла из Митавы в Москву, а 25-го восприяла самодержавие. Через восемь дней был уничтожен ею Верховный тайный совет, а в апреле она торжественно короновалась в Москве.

– Чудеса, чудеса совершаются в мире! – говорил наш никому не ведомый отставной сержант, будучи наслышан обо всех этих событиях. – Истинно чудеса!

Со своими умозаключениями и догадками по поводу этих событий он нередко обращался к Ироидочке. Но молодая женщина относилась к горячо передаваемым событиям не только безучастно, но даже холодно. Ее интересовало как женщину совсем другое. Все интересы, кроме своих собственных, отодвигались у нее на задний план. И неудивительно – она готовилась быть матерью.

Настал день, и ожидаемое молодой женщиной совершилось: она родила дочь.

Само собой разумеется, что отец от радо-

сти, как говорится, потерял голову. Замечательно, что при подобных явлениях почти все отцы одинаковы: теряются, толкутся, советуют и говорят бог знает что, надоедают с вопросами.

Бойкая повитуха без всякой церемонии устранила вмешательство в подобное дело Николая Митрофановича и даже посоветовала ему удалиться со двора.

Николай Митрофанович послушался повитухи относительно невмешательства, но со двора не ушел. Он тихонько поместился в соседней комнате, стал ко всему тревожно прислушиваться, и сердце его дрогнуло небывалой доселе радостью, когда он услышал крик – крик смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать, крик только что явившегося на свет божий человеческого существа.

Николай Митрофанович упал перед образом на колени.

– Господи, благодарю Тя, благодарю! – шептал он со слезами умиления на глазах.

И никому не ведомый отставной сержант чувствовал себя в это время на такой высоте счастья, что и не желал бы и не просил бы у

Господа другого: с него было довольно и этого. Все это счастье круто подступало к его сердцу, и его сердце ныло неизъяснимой радостью, неизъяснимым наслаждением. Ему и в голову не приходило, что эта только что зажегшаяся жизнь человеческого существа, жизнь, еще колеблющаяся, как огонек лампы, будет в свое время жить, предъявлять свои права, будет иметь свою радость, свое горе, и – как знать! – не будет ли это зверь в образе человеческом...

Отставной сержант не имел времени да и не находил нужным останавливаться над тайнами жизни человеческой. Он смотрел на все просто и естественно, как и подобало ему смотреть, простому и недалекому. Но он по-своему, как человек, любил, и по-своему, как человек, искренне веровал. А любовь и вера – лучшие спутники жизни человеческой.

К вечеру над сержантом смиловались: ему позволили увидеть своего первенца. Но сержант покуда увидал не человека, а какую-то твердую куколку, которая, однако, косила глазами, чмокала губами, и все лицо ее, этой куколки, как-то уморительно морщилось.

Повитуха поднесла куколку к самому носу сержанта:

– Аль не хороша? Полюбуйся, батюшка! Твое отродье, военное. А в солдаты не сдашь.

– И точно, кажись, косточка военная! – отвечал сержант на шутку повитухи и хотел куколку тронуть пальцем.

Но куколка в это время, сморщившись еще более и еще уморительнее, чихнула ему прямо в лицо.

– Здравия желаю, ваше благородие! – гаркнул вдруг во все горло отставной сержант и добродушно рассмеялся.

Новое благородие не поняло отцовского приветствия и жалобно запищало.

– Кобыла преображенская! – выбранилась весьма основательно повитуха и тотчас же унесла пискуна куда следует.

Пискуна вскоре окрестили и по желанию матери назвали Дарьей.

В метрике же местный священник написал несколько пространнее.

«Дарья, Николаева дочь, Иванова, – написал он, – рождена от сержанта в отставке Николая, сына Митрофанова, Иванова и от же-

ны его, Ироиды, дочери Якова, Булычевцевой, в супружестве Ивановой тож».

Так появилась на свет в малиновом домике на Сивцевом Вражке будущая Дарья Николаевна Салтыкова.

Ни для кого, кроме родителей, незаметное, обыденное событие это совершилось в июле месяце 1730 года.

Глава V

Первые проявления

Как только в малиновом домике появилось новое существо, то, весьма естественно, появилось и немало новых хлопот.

Все в домике стало как-то еще оживленнее, еще суетливее: чаще хлопали двери, чаще раздавались то довольные, то недовольные голоса, и надо всем этим – один голос, звонкий, назойливый, до надоедливости однообразный, но тем не менее самим виновникам его существования весьма милый.

Мать кормила ребенка сама, но все же для дальнейшей помощи была взята и нянюшка – краснощекая, круглая, молодая деревенская

бабенка из крепостных, которая покуда занималась только стиркой пеленок и прочими хозяйственными мелочами.

Сам преображенец ликовал необыкновенно. Вопреки своей прежней сдержанности перед молодой женкой он сделался теперь и более развязным и более смелым. Голос его звучал ровно, как голос хозяина, чувствующего свою силу. Роль отца он почему-то считал великой ролью и соответственно этой роли поднял голову.

Ироидочка, молодая мать, смотрела на это сквозь пальцы, не давала молодцу-преображенцу чувствовать своей силы и как-то углубилась в самое себя. Она находилась в том блаженном настроении, в каком обыкновенно при таких условиях находятся почти все молодые матери, — она тихо наслаждалась. Как мать по целым часам она любовалась на свое крохотное детище, и при этом немало дум теснилось в ее молодой материнской голове. О чем думают при таких условиях матери — дело тайное.

Совсем иначе любовался своей дочуркой отставной сержант и высказывал думы свои

открыто и ясно.

Он говорил:

– Подрастет эта каналья, эта косточка военная, станет девкой на возрасте, и выдам же я ее за военного, ни за кого другого – ни-ни! А и шельма же будет девка – по глазам вижу!

И точно, у шельмы глазенки были замечательные: крупные, синие, навывкате и необыкновенно вдумчивые, хмурые. Глядела ими девочка, и, казалось, что она присматривается ко всему окружающему, чутко прислушивается и даже очень хорошо понимает, о чем говорят. Мать иногда не могла выносить этого взгляда своего ребенка и отворачивалась. Преображенец отец, напротив, очень любил этот взгляд в своей дочурке, сам устремлял на нее свои серые, добрые глаза, и, таким образом, иногда ничего не сознающая малютка и отставной бравый солдат минуты по две глядели друг другу в глаза и как бы соразмеряли свои силы для какой-то предстоящей им борьбы.

– Ах, бестия! Взгляд-то, взгляд-то какой! Словно у волчицы! – восхищался преображенец. – Иройдочка! – обращался он к жене. – А

ведь это признак хороший!

– Что же хорошего? – спрашивала та.

– А никому, бестия этакая, как вырастет, спуску не даст!

Ироидочка соглашалась с мужем, что это хорошо, но при этом сомневалась, не признак ли это какой-нибудь детской боли.

– Эк хватила! – разубеждал ее преображенец. – Какая тут может быть боль?! Просто девчурка – анафема, и все!

И стала расти анафема и стала развиваться все более и более. Когда девчурке минул год, она выглядела почти двухлетним ребенком.

– Вона как девка-то растет! – любовался ею преображенец.

Вместе с ранним развитием появились у ребенка и какие-то ранние наклонности довольно резкого свойства. Она почти не по-детски и весьма больно царапалась и кусалась. Более всего это испытывала на себе нянька, деревенская бабенка, но, привычная ко всему, она не придавала этому ни малейшего значения. Но мать, невзирая на свою любовь к ребенку, оцарапанная ею однажды больно и до крови, отхлестала девочку прутиком и была

поражена тем, что девочка при этом не изда-
ла ни малейшего крика: она только ежилась
и морщилась, как-то зло и загадочно вперив
глазенки в мать. Ироида Яковлевна смути-
лась, бросила прутик и сообщила немедленно
о том мужу.

Подобное событие преображенца нисколь-
ко не удивило. Он только расхохотался.

– Шкура барабанная! – воскликнул он вос-
хищенно, взяв девочку на руки. При этом пре-
ображенец неловко как-то прижал ей что-то
и тут же убедился, что шкура барабанная не
думает давать спуску и ему, отцу ее и преоб-
раженскому сержанту, – она так крепко вце-
пилась ему в волосы, что в освобождении му-
жа от ласк дочери должна была принять уча-
стие и мать.

Преображенец, однако, хохотал во все гор-
ло, восклицая:

– Пусти, шельма! Парик испортишь! Па-
рик-то больших денег стоит!

Но девочка долго и упорно теребила его
«дорогой парик», не понимая, вероятно, что
такое дороговизна, теребила молча, сосре-
доченно, точно она дело делала или даже про-

сто наказывала.

Мать задумывалась над тем, что видела; сердце ее смутно подсказывало, что это не к добру.

– Отучать ее надо, – заметила она как-то мужу.

– Отучай. Это дело бабье – не мужское, – отвечал преображенец. – Я в бабьи дела не вмешиваюсь. А впрочем, не нахожу ничего опасного. Все дети баловники – балуют. Побалует-побалует – и бросит. Да ты чего взъелась так-то, матушка?

– Больно кусается.

– Зубы растут, чешутся зубы – вот и кусается. Не собака же она, в самом деле!

– Собака не собака, а...

Ироида Яковлевна остановилась, не зная, как обозвать свою кусающуюся дочку.

– Ну что – а? – пристал к ней муж.

– Уж не знаю, как и обозвать ее... – замялась жена.

– Как обозвать! Как обозвать! На что тебе обзывать дочку-то? У нее есть христианское имя – христианским именем и обзывай. Зовут Дарьей. А коль хочешь помягче – называй

Данькой, Доней, Донюшкой... Ну, сама там знаешь как... дело бабье... известное дело...

– Вестимо, знаю... да я так...

– А так зуб-то попусту и не чеши! Они у тебя, поди, поострее Донькиных будут. Да вот! – как будто спохватился преображенец: – Уж не в тебя ли она и зубастая такая? А? Право?

Преображенец весело расхохотался, радуясь своей находчивости в таком семейном и довольно щекотливом вопросе. Жена вспылила. Шутливость мужа раздражила ее.

– Вона! – заговорила она. – Зубастая?! А сам-то ты кто? Кто ты сам-то? Скажи-ка, ну-ка?

– Сержант Преображенского полку русской службы солдат! – отчеканил по-военному преображенец.

– Не сержант, а черт! – горячилась жена.

– Ну и черт еще! – шутил муж.

– А коли сержант и черт, то и дочь твоя... то и дочь твоя – чертова сержантка! – выпалила вдруг Ироида Яковлевна и тут же сразу сама удивилась тому, что сказала, и не только удивилась, но даже смутилась и застыдилась своей неуместной вспышки, вследствие кото-

рой ее же любимая дочь ею же самой была обозвана бог знает как.

Преображенец словно ожидал этого. Он разразился таким добродушным, таким неудержимым хохотом, повторяя, захлебываясь «чертова сержантка! чертова сержантка!», что Ироида Яковлевна, вполне сконфузившись, почла за лучшее удалиться, обозвав, однако, и мужа-сержанта тоже чем-то вроде «чертовой кочерги».

С этого дня название Чертовой Сержантки так и осталось за маленькой Доней. Называл ее так отец. Называла сама мать. Скоро название это благодаря, конечно, болтливой нянюшке перешло за ворота маленького домика, да так и пошло ходить из уст в уста, как обыкновенно ходит всякая сплетня, всякое кстати и бойко сказанное словцо, всякое прозвище.

И неудивительно: такие прозвища часто бывают лучшей характеристикой человека. А русский человек на такие характеристики мастер.

Глава VI

Зуботыка

Несколько лет прошли для малинового домика почти незаметно. Сержант изменился мало. Еще менее изменилась Ироида Яковлевна – она только пополнила несколько и потому выглядела сановитей и важеватей, что еще более придавало ей женской прелести и чему немало радовался отставной преображенец.

Изменилась только много Чертова Сержантка: из маленького задорного существа, кусавшегося и царапавшегося, она превратилась в красивенькую, полненькую девчонку, уже не требовавшую за собой ни малейшего ухода. К великому удивлению родителей, Чертова Сержантка в десять лет совсем не оправдывала данного ей в раннем детстве прозвища. Теперь это была сосредоточенная, даже угрюмая не по летам девочка, смотревшая почти всегда исподлобья, нелюдимая и молчаливая, всегда искавшая уединения. В ней осталась только старая злость, и злость

эта в ней была настолько велика, что родители частенько просто-напросто боялись ей противоречить. Чертова Сержантка очень хорошо это знала и пользовалась своим влиянием вполне. Все в доме как-то незаметно подчинилось этой маленькой султанше, все ее слушались, все внимали ей, все за ней ухаживали, как за куколкой, и слово ее было законом для всего дома.

Из нее вырабатывалась уже будущая суровая повелительница.

Нередко отец и мать втихомолку вели речь о своей дочке и о ее будущей судьбе.

– Как полагаешь, Ирочка, – начинал преображенец, – что выйдет из нашего детища, из нашей дочки?

– Что выйдет? – недоумевала Ироида Яковлевна. – Выйдет то, что Богу угодно.

– Это само по себе. Без Бога не до порога. А все же человеку о человеческом и думать подобает.

Ироида Яковлевна женщина, в сущности, недалекая, не находила, что отвечать и представляла подумать о будущей судьбе дочери мужу.

– Вот уж ей десять лет, – догадался однажды сержант, – а мы ее еще ничему не выучили. Одни только молитвы и знает.

– Так учи, – согласилась жена.

Была позвана Чертова Сержантка.

– Ну, ты, – обратился к ней отец, – удалая голова, учиться хочешь?

Чертова Сержантка, помолчав, спросила:

– А чему учить-то будешь?

– Ну, чему... известное дело чему... Чему всех дворян учат, тому и тебя учить будут...

– Грамоте?

– А хотя бы и грамоте.

– А на что мне грамота? – возразила дочь. – Я девка. Девке грамота не надобна.

– Но ведь ты сержантова дочка! – старался урезонить неподатливую дочь отец.

– Велика птица – сержант! – грубо возразила дочь.

– Ну и черт с тобой! – махнул рукой отец. – Не хочешь – не учись. Сама же после пожалеешь.

Дочь, однако, подумав, согласилась, чтобы ее учили.

– Резон! – похвалил ее за согласие отец. – Я

завсегда был того резону, что ты девчонка преумная. А уж и учитель у меня, Дашутка, – отдай да мало! Сам, бестия, все в рот кладет! И многознающ, что царь Соломон!

Многознающий Соломон появился в малиновом домике немедленно и был показан своей будущей ученице. Ученица, увидев его, так и ахнула от изумления.

– Так он-то учить будет? – воскликнула она.

– Он самый, – ответил отец.

Чертова Сержантка фыркнула и плюнула на пол.

И действительно, было от чего фыркнуть и плюнуть.

Явившийся учитель представлял из себя такую странную, почти безобразную фигуру, что невольно напрашивался на плевок. Он был низенького роста, почти карлик, толст и с огромной курчавой головой, которая очень сильно суживалась кверху. Лицо у него было совсем рябое, грубое, а маленькие серенькие глазки совсем ушли в глазницы. Одет он был в какой-то темный балахон, доходивший до пят, отчего вся фигура его походила на движущуюся

щейся сноп.

Минуты две «сноп» этот стоял молча перед будущей своей ученицей, а потом тоже молча показал ей кулак.

Преображенец разразился хохотом.

– Что? Каков? – хохотал он.

– Чучело! – воскликнула девочка и ткнула кулачком Многознающего Соломона в плечо.

– Ты не дерись, – ответил Соломон, – не то и сам сдачи дам! – И он опять показал ученице кулак.

Тут уж разразилась хохотом и ученица:

– А ну-ка дай! А ну-ка, дай! – хохотала она под носом Соломона. – Погляжу, как ты дерешься! Тятка, прикажи ему подраться! Я погляжу, как он дерется! Ну ты, карла великая, подерись! Подерись же!

И она начала тормошить Соломона, как будто какое-нибудь неодушевленное существо.

– Отстань! – вдруг вскрикнул Соломон. – Не то и взаправду зуботыкну!

– Ай, какой страшный зуботыка! – вскрикнула девочка и, будто в самом деле испугавшись, выбежала из комнаты.

– Мало ты, солдат, вижу я, лозы имеешь! – тотчас же по уходе девочки заметил сноповидный учитель.

– Для чего это? – спросил преображенец, не переставая весело моргать глазами и, видимо, довольный тем, что приводом такого учителя сумел распотешить дочь.

– А для своей, для этой солдатки! – отвечал учитель.

– Так ты, ученая голова, приготовь ее, лозу-то! – шутил преображенец.

– Коль понадобится, спуску не дам! А то и ученье начинать – воду толочь.

– Ты вот, ученая голова, потолки водицу-то, тогда и узнаешь, кому солоно достанется – тебе или ей.

– Уж спуску не дам! – твердил свое ученая голова.

Учение началось без замедления. Сноповидная фигурка учителя аккуратно с утра начала появляться в малиновом домике, и немедленно весь домик наполнялся таким шумом и гамом, что это заметили даже соседи.

Шум этот и гам производили всего только

три человека: учитель, ученица и сам преображенец. Учитель кричал и грозил ученице. Ученица кричала и грозила учителю. Преображенец хохотал.

Иногда в общий гам вмешивалась и сама Ироида Яковлевна и весьма благоразумно замечала мужу, что такое учение до добра не доведет, что лучше бы бросить его, учение это, а такого крикуна-учителя выгнать со двора в три шеи. Но сама ученица восставала против этого. Видимо, такая своеобразная, бурная метода учения нравилась ей, и она, вся раскрасневшаяся, со сверкающими глазами, веселая и довольная, заметно наслаждалась этой бестолочью, которой сама же она и была главной виновницей.

Нисколько не унывал, по-видимому, и учитель, этот «Многознающий Соломон», «ученая голова» и «зуботыка», как прозвала его ученица. Он бодро шел к своей цели, все терпел и, казалось, твердо решил побороть все препятствия, которые ставила ему сама же ученица. Рвение его в этом отношении зашло так далеко, что он не замечал даже тех толчков, которыми усердно наделяла его очень часто уче-

ница.

Один только раз Соломон, выведенный из терпения подобными толчками, позволил себе поднести свой кулак к самому носу Чертовой Сержантки.

– Так и тресну! – пригрозил он ей.

На эту угрозу Чертова Сержантка ответила, по своим силам, довольно порядочной пощечиной.

– Вишь, как больно дерется! – только и мог произнести при такой okazji ученая голова.

Глава VII

Васильковый кафтан

Тот, кого преображенец называл «ученой головой», а Чертова Сержантка «зуботыкой», как человек и христианин, носил и христианское имя. Его звали Иона Маркианыч, а прозвище его было Гнедой. Как только Чертова Сержантка узнала, как зовут ее учителя, то немедленно к старой кличке было прибавлено и слово «гнедой». Таким образом, Иона Маркианыч уже носил кличку Гнедой Зуботыка. Эта кличка за ним утвердилась во всем

малиновом домике. Так и говорилось: «Пришел Гнедой Зуботыка», «Гнедой Зуботыка ушел» и так далее.

Учение между тем шло своим порядком. Невзирая на всю бестолочь этого учения, ученица все-таки уже кое-что знала и вообще отличалась хорошей памятью и хорошей сообразительностью. Иона Маркианыч в этом отношении на свою ученицу жаловаться не мог. Но он мог пожаловаться на кое-что другое. Вопреки всякому педагогическому смыслу, дело было поставлено так, что не учитель обижал ученицу, а напротив – ученица обижала учителя, и обижала довольно чувствительно. Не проходило того дня, чтобы бедный Зуботыка не уходил домой с синяками на плечах или на каком либо другом месте. Ученица щипалась при всяком удобном случае. Стоило только заглядеться Ионе Маркианычу, как ученица с быстротой кошки с какой-то непонятной злорадностью, искривлявшей вдруг ее красивенькое личико и наводившее на все выражение лица ее вдруг что-то жестокое и далеко не детское, кидалась на него, на своего учителя, и крепко впивалась пальца-

ми в намеченное на его теле место. При этом происходило нечто странное и необъяснимое. Так грозно заявивший себя Зуботыка медленно оборачивался, так же медленно почесывал больное место и смотрел, долго смотрел на Чертову Сержантку с тем выражением в глазах, с каким обыкновенно смотрит угнетенная овца на собирающегося зарезать ее мясника. На глазах у Зуботыки в таких случаях нередко появлялись и слезы. И опять происходило нечто странное и непонятное. Слезы появлялись на глазах и у Чертовой Сержантки, и все личико ее принимало такое соболезнующее, такое печальное выражение, что Иона Маркианыч забывал о своей боли и видел только одну печаль своей ученицы. Печаль эта так трогала его, что он даже считал необходимым по-своему утешить ее.

Он обыкновенно говорил несколько хриплым, тихим, ласкающим голосом:

– Ну, ты... ты опять... да перестань ты... право же, перестань... А коль щипаться охота – щипись...

Подобное непостижимое утешение производило, однако, свое действие: Чертова Сер-

жантка утирала свои слезки, немедленно веселела, смеялась и прыгала возле своего учителя, как резвая козочка.

Оживлялся и сам учитель. Рябое лицо его осенялось улыбкой, маленькие серенькие глазки начинали сверкать из-под бровей, и вся фигура его принимала какой-то праздничный вид, вследствие чего не особенно замечалось и его физическое безобразие. Словом, наш Гнедой Зуботыка как будто несколько перерождался, делался несколько интереснее.

В такие минуты беседы учителя с ученицей делались и проще и дружелюбнее.

Чертова Сержантка обыкновенно начинала первая.

– Отчего ты Гнедой? – спрашивала она. – Ведь ты не конь? Не конь ведь?

– Копыт у меня нет, – объяснялся Гнедой, – стало быть, я и не конь.

– Так отчего же ты Гнедой?

– Оттого и Гнедой – прозвище такое.

– Стало, есть и бурые, и чалые, и саврасые? – не отставала ученица.

– Может, и есть... – соглашался Гнедой.

Среди подобных разговоров Чертова Сер-

жантка успела узнать, кто таков был ее учитель, хотя это совсем нисколько ее не интересовало.

Иона Маркианыч был сын сельского попа, учился в семинарии, некоторое время диаконствовал в одном селе под Москвой, но был по желанию помещика удален за свою «неблагообразную фигуру» и с тех пор принялся за педагогическую деятельность по домам небогатых людей. Он был далеко не глуп, достаточно знающ в своем деле, но насмешки над его наружностью превратили его в подобие какого-то шута. Он освоился с этой ролью, и даже, почти помимо воли, более по привычке, старался всюду поддерживать раз начатое шутовство, тем более что это было и небезвыгодно. Шутовство защищало его от многого, а в то время – время карлов и шутов – шутовство было несравненно выгоднее многих служб и обязанностей. Шутовски, по обыкновению, вошел Иона Маркианыч и в малиновый домик преображенца. Но тут шутовство его как-то сразу обрезалось, не нашло себе простора, чему он был и рад. Шутовские крики его с ученицей прекратились, и он стал пе-

ред нею тих и терпелив. Но страннее всего было то, что он как-то незаметно для него самого начал все более и более привязываться к малиновому домику. Не побывать в малиновом домике хоть один день казалось для него потерей. А между тем по условию с преображенцем он обязан был приходить для учебы в неделю всего только четыре раза. Преображенец не желал утруждать дочь усиленным учением и эти дни назначил для отдыха, из которых суббота посвящалась преимущественно одной бане.

Под разными нехитрыми предложениями Иона Маркианыч заглядывал в малиновый домик и в эти дни.

Преображенец был очень рад: все-таки было с кем перекинуться одним-другим словечком. Они больше говорили о старине, вспоминали отца Петра, так как оба они очень хорошо знали великого императора. Преображенец был от Петра в восхищении. Все, что было создано Петром, он находил превосходным и великим. Иона Маркианыч не совсем с ним соглашался: он недолюбливал Петра за некоторые стеснения относительно духовенства

и даже иногда порицал. Следствием таких недоразумений были небольшие споры между преображенцем и «ученой головой», оканчивавшиеся всегда весьма миролюбиво. Приятели выпивали по несколько чарок анисовки, которую, как известно, предпочитал другим напиткам и великий император, и речь у них принимала совсем иной оборот: тут уж более начинал говорить Иона Маркианыч, и что бы ни говорил – всегда речь оканчивал похвалой, всецело относившейся к Чертовой Сержантке. Похвалы его маленькой преображенке были неистоцимы, и до того они были восторженны, что удивляли самого преображенца.

– Да черт! Кого ты хвалишь? – восклицал иногда преображенен.

– Дочку твою хвалю, твою Сержантку! – объяснял Иона Маркианыч.

– За что, скажи-ка, брат?

– За ум. У дочки твоей великий ум.

– Эк хватил! – смеялся преображенец, но при этом ему было весьма приятно, что хвалят его родное детище. Но он старался скрыть это и требовал разъяснения: – Почему? Ты

скажи, ученая голова, почему у моей Чертовой Сержантки отыскался ум?

– Это уж от Бога, – серьезно пояснял Иона Маркианыч. – Все идет от Бога.

– Без тебя сие знаем, ученая голова. А ты скажи: отчего у меня, у простого сержанта Преображенского полка, родилась такая умная дочь?

«Ученая голова» подобным вопросом несколько озадачивался, но все-таки старался кое-как объяснить.

– Родилась! Гм! Почему же и не родиться, удалая ты голова? – говорил он. – Инде и в бесплодной пустыне вырастает колос пшеничный. Инде и бесплодная смоковница дает единый плод зрелый.

Вступив на почву аллегорических объяснений, Иона Маркианыч в этом отношении заходил весьма далеко и городил иногда нечто такое, чего уже преображенец не понимал и слушал, вытаращив от удивления глаза.

Вообще Иона Маркианыч был порядочный мастер городить чушь, а среди этой чуши он позволял себе иногда как бы кое-что предрекать, предсказывать.

Эту черту выработало в нем постоянное шутовство, и черта эта частенько таки сослуживала ему хорошую службу. Среди недалеких людей, веровавших во всякую крупную и мелкую чертовщину, во всякие гаданья и нашептыванья, он пользовался довольно изрядной репутацией гадалея. Эта отрасль его знания была для него несравненно доходнее педагогической деятельности, и он всюду зашибал ею изрядную копеечку. В качестве прорицателя у него на дому имелись и кое-какие принадлежности подобного звания. У него было немало трав, камней, порошков и прочей дребедени. У него даже имелся «рог единорога», считавшийся в то время таинственным и эффективным средством от многих болезней и недугов, и между прочим от бесплодия. «Рогом» этим Иона Маркианыч весьма дорожил и хранил его, что называется, за тридцатью замками, ибо «рог» этот был для него и рогом изобилия. Благодаря этому «рогу» Иона Маркианыч имел свой довольно порядочный домишко в Кудрине, жил со старушкой-стряпухой довольно обеспеченно и, во всяком случае, имел деньжонок не менее

преображенца.

Жизнь его, таким образом, текла ровно, спокойно, и ему недоставало только одного – хозяйки по дому.

«Эх, кабы хозяйка, – думал нередко Иона Маркианыч, – все бы пошло еще лучше! Бросил бы тогда и детишек учить, и дураков лечить. Засел бы у себя в домишке, залег бы на печи да и ел бы с хозяйкой пироги с морковью али с кашей».

В свое время, однако, у Ионы Маркианыча была и хозяйка, но это было так давно, что время то представляется Ионе Маркианычу как во сне. Хозяйка его прожила тогда с ним не более года: больная, хилая, она сошла в могилу, не оставив даже своему вдовцу-супругу о себе никаких светлых воспоминаний.

В настоящее время Ионе Маркианычу лет уже около пятидесяти, а женат он был лет тридцать назад, и во весь этот долгий тридцатилетний период времени он уже не мог найти себе хозяйку. Физическое уродство отталкивало от него всех женщин, и бедный урод примирился с этим, не покушался уже отыскивать хозяйку, а только позволял себе по-

мечтать по этому поводу, и то изредка, и то в минуты «грусти безнадежной», когда одиночество уж особенно, как говорится, допекало его, бедного урода.

В последнее время он только и отводил душу в малиновом домике – и малиновый домик сделался для него чем-то совершенно необходимым. Не существуй, казалось, малинового домика, ему бы и деваться было некуда со своим горьким одиночеством, ему бы и делать было нечего.

Преображенец как бы понял эту появившуюся у Ионы Маркианыча необходимость: принимал его ласково, вел с ним беседы, подчас даже советовался. Они сблизились, стали почти друзьями. В свою очередь, нередко советовался с преображенцем по своим делишкам и Иона Маркианыч, причем он отдавал должное и уму, и опытности Николая Митрофановича.

При всем этом, может быть и случайно, может быть и намеренно, Иона Маркианыч стал появляться в малиновом домике совсем в ином виде. На нем уже не было длинного темного и безобразного балахона. Иона Мар-

кианыч появлялся в малиновый домик в кафтане темно-василькового цвета, который был ему впору и даже по-своему шел к его фигуре. Волосы он держал в порядке, лицо и руки мыл чисто и вообще выглядел много приятнее и солиднее прежнего.

Само собой разумеется, что первая заметила эту перемену в Гнедом Зуботыке Чертова Сержантка.

Первое появление Зуботыки в темно-васильковом кафтане было для нее настоящим торжеством. Увидев его в новом кафтане, она побросала под стол книги и тетради, запрыгала, захлопала в ладоши и начала вертеть Зуботыку, восторженно повторяя:

– Ай какой мудреный! Ай какой мудреный!

Зуботыка конфузился, словно десятилетний мальчишка:

– Чего – мудреный? Мудреного ничего нет!

– Как нет? А кафтан?

– Кафтан как кафтан. Все такие носят кафтаны.

– Ан и не все! Ты один такой носишь! Кто же носит кафтан василькового цвета? Кто же носит, скажи-ка?

– Вот я ношу. Я надел.

– Скинь!

– Ну и скину! – согласился Зуботыка.

– А наденешь что?

– Балахон опять надену.

– Ай, балахона не надо! Не надо балахона! – смеялась Чертова Сержантка. – Ты в кафтане лучше!

– Ну, буду носить кафтан, коль в кафтане лучше!

Тут же девочка заметила, что у Зуботыки и сапоги хорошие, и порты из какой-то добротной материи, и платок на шее новый, а лицо вымыто чисто, и курчавые волосы как-то хорошо приглажены. Руки тоже чисты, и ногти подстрижены.

– Ты теперь совсем не Гнедой! – продолжала шутить девочка. – Ты теперь Василек! Василек? Ай, как это хорошо! Я васильки люблю! Они такие хорошенькие во ржи! Я видела, когда ездила с батюшкой к Троице. Мне еще девочка одна, маленькая такая, худенькая, веноч из васильков сделала! Тогда я еще не училась у тебя... А ты... где ты был тогда?

– Когда? – спросил совершенно глупо Васи-

лек.

Девочка рассмеялась:

– А тогда, когда росли на малине желуда!

Василек совершенно растерялся. Он мялся на одном месте, одергивал свой васильковый кафтан и пялил глазами по углам.

Вдруг девочка притихла и скорчила какую-то печальную гримаску.

– Я обидела тебя, Василечек мой? – произнесла она таким удивительно грустным голосом, что сердце у Ионы Маркианыча дрогнуло каким-то неведомым ему доселе чувством.

Он бормотал:

– Что же за обида? Какая обида?

– Так ты не сердисься? – обрадовалась девочка.

– Да за что же?

– Да вот за то, что я смеюсь над тобой.

– Эк обиду нашла!

– Так вот же тебе за это! – произнесла шепотом девочка и торопливо чмокнула Зуботыку в лоб, а затем с особенной силой ущипнула его за плечо и сама куда-то скрылась.

Весь тот день васильковый кафтан Ионы

Маркианыча служил неистощимой темой для разговора. Преображенец нашел кафтан «изряднехоньким». Ироида Яковлевна похвалила цвет и покррой. Нянька только воскликнула: «Ах какой ты!» – и, смеясь, убежала в кухню. Но сам обладатель василькового кафтана, казалось, был чем-то расстроен. Он говорил иногда кое-что невпопад, часто оглядывался или задумывался, и глаза его частенько блуждали как-то бестолково то по углам, то по потолку. Преображенец наконец заметил это.

– Ты, ученая голова! Что с тобой такое? – спросил он с участием. – Аль охмелел, что новый кафтан надел?

– Не по себе чтой-то.

– Домой иди, отдохни. А то выпей-ка вот чарочку анисовой, авось полегчает.

После анисовой Иону Маркианыча разморило еще более. Он собрался уходить домой, и когда уходил, перед ним мелькнула русая головка Чертовой Сержантки, и, как ему показалось, она провожала его глазами с каким-то особенным сожалением.

Домой он возвратился в каком-то жгучем угаре. Всю ночь потом ему не спалось, и нако-

нец, уткнувшись лицом в подушку, он тихо заплакал, а когда заснул, то метался, как больной. Странные и непостижимые сны снились одинокому, всеми презираемому и никому не нужному уроду, и среди всех этих снов он почему-то признавал, даже хотел себя уверить в том, что уродливое тело имеет и уродливые помыслы.

Глава VIII

Видение императрицы Анны

Для Ионы Маркианыча настало какое-то странное время. Из часу в час, изо дня в день он бродил как угорелый. То на него находили минуты какого-то блаженного состояния, когда все вокруг казалось ему и добрым и светлым: и солнце светило ярче, и вся природа словно улыбалась ему. То вдруг сердце его ожесточалось. В эти минуты бедный урод то горько плакал, то проклинал все, что видел перед своими глазами, и черная злоба ко всему на свете закипала в его сердце. Иногда он казался совершенно помешанным, и на него было отвратительно смотреть в это время:

уродливость его кидалась в глаза еще больше, и еще больше он производил отталкивающее впечатление.

Все в малиновом домике заметили эту резкую перемену в Ионе Маркианыче и при случае сторонились его.

Не сторонилась одна Чертова Сержантка и, бог весть почему, стала к нему как будто милостивее. Она часто называла его ласкательными именами: звала «гнедушкой», «зуботычкой», «миленьким василечком», и ее юные поцелуи все чаще и чаще обжигали лоб Ионы Маркианыча.

На такую сцену наткнулся как-то нечаянно преображенец. Сначала он не сообразил, что это значит, но потом задумался, и когда ушел Иона Маркианыч, он позвал дочку к себе.

Взглянув на фигуру дочери, плотную, здоровую, не по годам развившуюся, он задумался еще более, и что-то подозрительное зашевелилось у него в мозгу. Перед ним стояла не десятилетняя девочка, а девчонка лет шестнадцати, румяная, со сверкающими смелостью, доходящей до злости, глазами. При этом она и

держалась совсем как-то не по-детски.

– Чего тебе, батька? – спросила она у отца.

Преображенец отвечал не сразу.

– Чего? Гм! – сказал он потом и пристально стал смотреть на дочь.

Дочь заметила это.

– Аль давно не видал? – произнесла она.

– Видать видал, дочка. Да вот дивуюсь на тебя: какая ты у меня рослая да покладистая. Ни дать ни взять девка на возрасте.

– Чай, дочь-то твоя – получше меня знаешь, отчего я рослая да покладистая, – отвечала без запинки дочь.

– Ан и не знаю.

– А не знаешь, так, стало, и знать не надобно.

Преображенец нахмурил брови.

– Можно речь-то и поскладней вести! – заметил он.

– На нескладицу нескладицей надобно и ответ держать! – резко возразила дочь.

Преображенец прикусил язык, чувствуя, что дочь права и что ему не следовало заводить с нею той речи, которую он завел. Но он хотел показаться перед ней строгим отцом и

сказал:

– А вот я уже приготовлю лозу, коя кому-нибудь по хорошему месту придется.

– И приготовь. Лозою, чу, бают, в могилу не вгоняют. Может, кому лоза и на пользу.

– Тебе она на пользу, дочка!

– А на пользу – и пользуй. Чай, служичи-то к этому делу попривык как следует.

Хмуρο и грозно посмотрел преображенец на дочь-грубиянку, поморщился в досаде на свое бессилие перед ней и переменял речь:

– Гляжу я на тебя, дочка, – умна ты больно. Поумней уж стала нас, стариков. Не пора ли тебе учебу-то закончить?

– Мудрены вы, старики, гляжу и я: лозой учиться заставляют да лозой же заставляют и покончить учение. Аль всюду так заведено? Аль уж у вас одних такие порядки ведутся?

Сухощавое лицо преображенца заметно покраснело. Он злился и готов был кинуться на дочь с кулаками. Но благоразумие удержало его недостойный порыв. «Зверенок!» – только подумал он.

В тот же день преображенец вел с женой долгую и тихую беседу по поводу выходов до-

чери. Ироида Яковлевна при этом откровенно созналась, что она просто-напросто боится дочери. Того же мнения, но только уже о себе, был и преображенец, но жене о том не признался – стыдно было. В конце концов родители Чертовой Сержантки порешили не обращать на дочь внимания и предоставить ее самой себя: пусть, мол, делает что хочет. Преображенец даже до того негодовал на дочь, что не преминул заметить:

– Черт с ней! Пусть хоть голову сломит – туда ей и дорога!

– Ай, чтой-то ты, Николай! Зачем такого желать родному детищу! – вступилась за дочь Ироида Яковлевна.

– Пожелаешь, жена! Ты бы поглядела, каким бесом она глядела на меня, когда я говорил с ней, так сама бы ей всякого рожна пожелала! Волк волком, дьяволенок этакой!

Дьяволенок и точно начал в большинстве случаев глядеть волк волком. Это было нечто до того дикое и злое, что при одном ее появлении всем как-то делалось неловко. Особенно чувствовали это отец и мать. За всем тем в иные минуты, хотя довольно редкие, девчон-

ка помимо своей физической красоты пора- жала всех и какой-то своеобразной обаятель- ностью, полной и удалой прелести и безот- четной, чарующей привлекательности. В зре- лых годах такие женщины носят название си- рен и лорелей и действительно бывают опас- ны и даже губительны для хвастающего сво- им первенством мужчины. Сколько их, бед- ных, измучилось и погибло под влиянием этих на первый взгляд, казалось бы, незначи- щих взглядов и улыбочек женского кокетства и еще погибнет сколько – счету нет!

Только что вышедшая из отрочества Чер- това Сержантка, весьма естественно, не пони- мала еще ничего из числа тех тайн, которы- ми впоследствии природа так щедро награж- дает слабый пол, но тем не менее помимо сво- ей воли девочка уже проявляла их, и, по-ви- димому, они, эти тайны, должны были раз- виться в ней до чудовищных размеров. Она ходила как-то особенно, вразвалку, но легко и скоро, как будто крадучись. Говорила несколько медленно, улыбаясь краями хоро- шеньких губ, и при этом красивые глаза ее тоже как будто что-то говорили и тоже улы-

бались, подернутые своеобразным блеском. Смех и хохот ее были загадочны, смелы, и хотя не заразительны, но до того своеобразны, что, раз услышав этот смех, он уже более не забывался. Вообще в юной Чертовой Сержантке соединилась какая-то смесь дикости, зверства даже с очарованием первой, не совсем еще расцветшей молодости в виде хорошенького существа. Она стала для всего малинового домика загадкой.

Более всех, конечно, она была загадкой для Ионы Маркианыча. Ему казалось, что и его ученица находится в таком же чаду, как и он сам.

Вскоре это подтвердилось, хотя в таком невыразимом виде, что лучше было бы, чтобы уж ничего и не подтверждалось.

На дворе стоял октябрь первых чисел 1740 года. Погода была прекрасная, ясная и теплая. Но это было только в Москве. В Петербурге было хмуро и дождливо, и при этом было как-то хмуро и при дворе императрицы Анны Иоанновны. Императрица чувствовала себя плохо, никуда не выезжала, и поэтому все

удовольствия двора, на созидание которых был такой мастер Бирон, прекратились. Все-му Петербургу было, само собой разумеется, не по себе. Хотя императрица и назначила своим преемником внука, принца Ивана Антоновича, рожденного 12 августа того же года, но прозорливые дипломаты да и многие высокопоставленные особы столицы чувствовали и сознавали всю непрочность этого назначения. Всем им хорошо было известно, что власть перейдет в руки Бирона, но являлось сознание и в том, что Бирон власть удержит ненадолго и что после него правительницей империи, по ходу дела, должна сделаться мать Ивана Антоновича, Анна Леопольдовна. Но ее имя было так непопулярно, что не ждали добра и от ее правления.

В это время по Петербургу, а потом, разумеется, и по Москве втихомолку разнеслась странная, таинственная весть о видении императрицы Анны, которое произошло во дворце. Речь шла о двойнике, явившемся императрице в одну холодную октябрьскую ночь.

Иона Маркианыч на правах всезнайки и

шута проведал об этой таинственной истории как-то раньше других и тотчас же явился с нею в облюбованный им малиновый домик преображенца.

Мы не будем передавать этой таинственной истории устами Ионы Маркианыча, но передадим ее устами очевидца, со слов которого рассказ о ней, об этой истории, перешел в записки одной почтенной, всем в свое время известной, графини В-ой.

Товарищ очевидца со взводом солдат был дежурным в карауле поздним вечером. Это было во дворце на Фонтанке, у Аничкина моста. Караул стоял в комнате подле тронной залы. Часовой находился у открытых дверей. Императрица уже удалилась во внутренние покои, и все стихло. Было уже за полночь. Дежурный офицер уселся, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой зовет на караул; солдаты вскочили на ноги, офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь. Он видит, что императрица Анна Иоанновна ходит по тронной зале взад и вперед, склонив задумчиво голову, закинув руки назад и не обращая ни на кого внимания. Ча-

совой стоит как вкопанный, рука на прикладе, так же и весь взвод стоит в ожидании. Но выражается что-то необычайное в лице императрицы, и эта странность ночной прогулки по тронной зале начинает их всех смущать. Офицер, видя, что она решительно не собирается идти дальше залы, и не смея слишком приблизиться к дверям, решается наконец пройти другим ходом в дежурную женскую и спросить, не знают ли там намерения императрицы.

Тут дежурный встречает Бирона и рапортует ему, что случилось. «Не может быть! – вскричал герцог. – Я сейчас от императрицы! Она ушла в спальню ложиться». – «Взгляните сами – она в тронной зале», – объясняет дежурный. Бирон идет и тоже видит императрицу. «Это какая-нибудь интрига, обман какой-нибудь, заговор, чтобы подействовать на солдат!» – вскричал герцог и кинулся к императрице. Он уговорил императрицу выйти в тронную залу, чтобы в глазах караула изобразить какую-то самозванку, какую-то женщину, пользующуюся некоторым сходством с ней, чтобы морочить людей, вероятно, с дур-

ным намерением.

Императрица решилась выйти как была. За нею пошел и Бирон. Императрица увидела женщину, поразительно похожую на нее, которая при этом нимало не смутилась. «Дерзкая!» – вскричал Бирон и вызвал весь караул.

Караул вышел и, по словам очевидца, весь своими глазами увидел две Анны Иоанновны, из которых настоящую, живую, можно было отличить от другой только по наряду и по тому еще, что она вышла с Бироном из другой двери. Императрица, постояв минуту в удивлении, выступила вперед и пошла к той женщине, говоря: «Кто ты? Зачем пришла?»

Не отвечая ни слова, та стала пятиться, не сводя глаз с императрицы, отступая в направлении к трону, и наконец все-таки лицом к императрице, стала подниматься, пятясь, на ступеньки под балдахин.

«Это дерзкая обманщица! Вот императрица! Она приказывает вам: стреляйте в эту женщину!» – вскричал Бирон взводу.

Изумленный, растерявшийся офицер, командовал, солдаты прицелились. Женщина, стоявшая на ступенях у самого трона, обрати-

ла глаза еще раз на императрицу и исчезла.

Анна Иоанновна повернулась к Бирону и сказала: «Это моя смерть!»

Затем она поклонилась остолбеневшим солдатам и ушла к себе...

– А что ты, удалой солдат, смекаешь при такой okazji? – спросил Иона Маркианыч, как только кончил рассказывать по-своему вышеприведенную таинственную историю.

– Нет, ты что смекаешь, ученая голова? – спросил в свою очередь преображенец, и спросил таким тоном, что Иона Маркианыч несколько смутился, но, мгновенно оправившись, по-своему истолковал слышанное и самим им рассказанное. – А смекаю то, – толковал он, – что тут дело неладно. Уж коли сама императрица поведала, что это ее смерть, то, стало быть, смерть это и есть.

Преображенец вдруг вскочил.

– Слово и дело! – закричал он во все свое солдатское горло и крепко схватил Иону Маркианыча за ворот его василькового кафтана.

Ворот затрещал, а сам владелец его в испуге присел к самому полу. Вслед за тем раздал-

ся какой-то неестественный, глухой стон бедного уроды.

Глава IX

«Слово и дело»

В свое время слова «слово и дело» были слова ужасные. Почти все XVIII столетие полно политическими, а частью и просто уголовными делами, начатыми по возгласу «слово и дело!». Этими ужасными словами нередко злоупотребляли, а нередко пускали их в ход из-за таких пустяков, что больно доставалось и тому, кто говорил за собою «слово и дело!». Большею частью злоупотребления со «словом и делом» совершались ради алчности: доноситель, говоривший за собою «слово и дело», ежели донос его подтверждался, получал по тому времени довольно большую награду. Обыкновенно, смотря по важности дела, выдавалось от двадцати пяти до ста рублей.

«Слово и дело» было созданием Петра Великого и являлось при его крутых преобразованиях крайней для него необходимостью. Почти во все свое царствование он не мог

быть спокоен: тайная крамола не дремала и старалась подточить в зародыше то, что стоило великому императору много трудов и много денег. Таким образом, насилие порождало насилие же. Да и в нравах того века это было делом весьма естественным. Сама Западная Европа представляла в этом отношении нечто еще более жестокое, так что наша Преображенская, Тайная канцелярия во главе со знаменитым князем Федором Юрьевичем Ромодановским могла еще показаться сравнительно с казематами и подпольями инквизиторов чем-то более человечным и снисходительным. Там, в Западной Европе, пытки инквизиторов были доведены до таких тонкостей, до каких наши доморощенные Трубецкие, Ушаковы и Писаревы никогда не додумывались, да и не старались додумываться: достаточно было дыбы, батогов и кнута.

При всем этом необходимо заметить, что в то суровое время лютые пытки как бы порождали и людей, способных переносить всякого рода истязания: появлялись натуры железные, которые сами очертя голову как бы напрашивались на ряд всевозможных мучений.

Без всякого повода, без особой нередко причины и умысла люди эти извергали хулу на все святое, буйно порицали и бранили владык и тем самым делались преступниками первой важности, для которых, по тогдашним суровым законам, не могло существовать пощады. В этом отношении особенно упорны и дерзки были первые раскольники.

Некоторые сами лично являлись к великому императору и лично заявляли свой протест, отдавая себя на расправу судьям.

Таков был Ларион Докукин, из подьячих.

Этот человек, будучи уже лет шестидесяти, в самое тяжелое для Петра время – время суда над приближенными царевича Алексея – явился к императору, когда тот 2 марта 1718 года был в церкви на «старом дворе», и подал ему какие-то бумаги. Петр принял их и развернул первую: это был печатный экземпляр присяги царевичу Петру Петровичу и отречение от царевича Алексея Петровича. Под присягою, где следовало быть подписи присягающего, написано было крючковатым, но четким, крупным почерком отречение, а в заключении сказано: «Хотя за то и царский

гнев на мя произлиется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой за истину аз, раб Христов Иларион Докукин, страдати готов. Аминь, аминь, аминь». Само собой разумеется, началось следствие, которое привело Докукина к казни. Во все время суда Докукин оставался при своем убеждении и с ним же умер на плахе.

Было немало и других примеров в этом же роде, которые потонули в общем море тогдашней уголовщины.

Небезынтересно заметить и то, что именно существовало как известный уголовный окрик до «слова и дела».

До Петра, а частью и при Петре, все уголовные дела вершились сначала в Стрелецком приказе, а затем на так называемом Потешном дворе в Кремле. До 1697 года личная безопасность, охранение собственности от воров, порядок, тишина и общественное спокойствие Москвы были вверены попечению и наблюдению стрельцов, а ночью берегли город «решеточные» сторожа и воротники, которые выбирались из посадских, слободских и дворовых людей. Заговор Цыклера и Соков-

нина, полагавших свои надежды на содействие стрельцов, побудил Петра в 1697 году окончательно уничтожить влияние стрельцов. Окончив дело заговорщиков казнями и ссылками, Петр, отъезжая за границу, поручил Москву и наблюдение за тишиной и безопасностью столицы князю Федору Юрьевичу Ромодановскому, главному начальнику отборных солдатских полков, Преображенского и Семеновского. Таким образом, стрельцов заменили преображенцы и семеновцы, а полицейский суд и расправа от Стрелецкого приказа перешли уж преимущественно на Потешный двор в Кремле, устроенный царем Алексеем Михайловичем. Здесь-то, на этом Потешном дворе, знаменитый князь Ромодановский начал именем великого государя чинить суд и расправу, тут же он привык к будущей своей деятельности в Преображенском, и тут же им наказано было употреблять в драках и других уголовных событиях, как было и прежде, крик «караул!», а в крайних и опасных случаях, вроде, например, бунта или заговора, возглас «ясаком промышляй! ясак хован!». Долго еще потом бестолковому «ясаку»

суждено было быть единственным криком, зовущим на помощь при необыкновенных событиях, а «караул» дожил даже и до наших дней, и едва ли когда русский человек отрешится от своего «караула» – «караул» при безобразиях так же необходим русскому человеку, как щи и каша! Для него это тоже своего рода пища.

Усложнившиеся события политических смут и неурядиц вынудили Петра Великого заменить «ясака» «словом и делом». «Слово и дело» быстро вошло во всеобщее употребление, и этими словами, как мы уже говорили, много начали злоупотреблять.

Смерть Петра не уничтожила странного возгласа, и он вместе с Канцелярией тайных розыскных дел просуществовал до 1762 года. В этом году император Петр III Федорович указами от 17 и 21 февраля уничтожил и страшное «слово и дело», и ненавистную народу Канцелярию тайных розыскных дел, руководствуясь в этом случае примером своей тетки, императрицы Елизаветы Петровны, которая незадолго перед тем уничтожила смертную казнь за обыкновенные преступления.

ния.

Так кануло в вечность ужасное выражение «слово и дело»...

Глава X

Проклятая

В 1740 году, в году, когда происходит действие нашего повествования, «слово и дело» было еще в полной своей силе. Мнительная, болезненная императрица Анна Иоанновна и вместе с нею суровый курляндский герцог Бирон не находили нужным уничтожать его, да и время было такое, что от всех можно было ожидать всего – мрачное, тяжелое, беспокойное было время.

Можно же себе представить, как велик был испуг Ионы Маркианыча, когда преобразенец крикнул «слово и дело!».

– Слово и дело! – повторил он еще раз, и с каким-то несвойственным ему озлоблением поволок Иону Маркианыча к двери, решив отдать его в руки правосудия.

Иона Маркианыч заголосил, и заголосил так, что Ироида Яковлевна пришла в ужас не

менее самого Ионы Маркианыча и схватила мужа за руку.

– Опомнись! – крикнула она. – Чтой-то ты городишь такое, бестолковый? Какое тут тебе «слово и дело»? Аль обалдел ты, муженек мой? Аль уж успел опохмелиться с утра с самого? Пусти его!

Преображенец на мгновение приостановился.

– Пустить? Кого пустить, жена? – грозно сверкнул он глазами. – Или тебе неведомо, не поняла ты, что он сказал такое?

– Пусти! – настаивала Ироида Яковлевна,

– Прочь! – крикнул преображенец и толкнул жену так, что та чуть было не упала.

Между супругами затеялась перебранка, первая с тех пор, как они сделались мужем и женой. Иона Маркианыч не переставал охать и копошиться у ног все еще державшего его преобразенца. На крик супругов выбежала наконец дочь.

– Что тут? Куда тебя тащут, Зуботыка?

– Ох! – стонал Иона Маркианыч. – «Слово и дело» сказал за собой... на суд тащат... спасите, люди милостивые!

– Батька,пусти его! – обратилась дочь к отцу.

Преображенец изумленно посмотрел на свое детище:

– Как...пусти?

– Так ипусти! А то и отниму, черт этакой!

Преображенец стал в тупик:

– Ах, паскуда!

– Сам паскуда! – было ему ответом.

И вслед за тем с какой-то отчаянной силой, вовсе несвойственной молодой девчонке, она вырвала из рук отца Иону Маркианыча, толкнула его в дверь и за ним выскочила сама.

Все это произошло так неожиданно, так быстро, что присутствовавшая тут же Ироида Яковлевна видела все как во сне. Но она страшно перепугалась, когда взглянула на мужа. Преображенец побагровел и, видимо, задышался от душившей его злобы, а взгляд его был полон какого-то непреодолимого ужаса.

– Что же это?.. Что же это, жена, а?.. – заговорил он наконец каким-то неестественным голосом – голосом, в котором слышалось все: и ярость беспомощного человека, и лихорадочная тревога, и нечто такое животное, что

приближает человека к дикому зверю.

Ироида Яковлевна не сразу нашлась, что ответить. Она беспомощно смотрела на мужа и ожидала, что он скажет далее.

Преображенец, как бы поняв это, продолжал:

– Да, я знаю, что это... знаю... Она мне больше не дочь... Не надо... прочь ее... прочь от меня!

И он судорожно замахал рукой, точно отталкивая от себя ту, которую гнал.

– Прочь! Прочь! – повторял он.

Тут Ироида Яковлевна, несколько успокоившись, нашла необходимым успокоить мужа.

– Николай, полно тебе, полно! – заговорила она. – Девчонка, недомысленно, сдуру, с праху словцо неразумное сказала, а он, на-ка, прочь да прочь!

– Прочь! Прочь! – твердил преображенец.

– Куда прочь-то? Опомнись!

– От меня прочь!

– Не чужая же она тебе – дочь, ты то помни.

– Нет, она мне не дочь! Не дочь! – бормотал

настойчиво преображенец. – Какая она мне дочь! У меня нет больше дочери!

И он все продолжал махать рукой, а голос его дрожал все более и более.

– На-ка! Затвердил одно, что сорока на суку, да и мечется! – заметила мужу Ироида Яковлевна. – Полно тебе, старый. Опомнись!

– Опомниться?! Ха, я уж давно опомнился, государыня моя, давно! Да и пора: стар стал, сед стал, еле вон на ногах стою! Сама, чай, видишь! Видишь?

– Вестимо, вижу – не слепая.

– Нет, ты слепая! – придрался вдруг к слову старый преображенец. – Совсем-таки слепая, государыня моя! Кабы ты не была слепая, ты бы видела, куда твоя дочка идет! Видела бы! А ты не видишь! Ты не видишь, – горячился все более и более преображенец, – что в твоей дочке сам черт сидит! Ты не видишь, что в ней нет ничего человеческого! Она – зверь, зверь, зверь!

Ироида Яковлевна закрестилась:

– Опомнись ты, оглашенный! Опомнись!

– Опомниться?! Ха, я уж давно опомнился, государыня моя, давно! Старому солдату пора

опомниться! Служил Богу, служил царю Петру, турку видел, шведа видел, штыком работал, всего видел, всего пережил, а уж того, чтобы родные дочери своих родных отцов бранью бранили – не видывал и не знавал доселе! Боже! Боже! – поднял преображенец руки кверху. – Вот мои седины перед Тобой: голова моя старая, служилая, недомысленная! Прости мне то, что скажу! А скажу я слово страшное, слово отцовское!

Ироида Яковлевна женским чутьем угадала, какое такое слово хочет сказать муж. Она дрогнула всем своим телом и схватила мужа крепко за руку.

– Постой! постой! – зашептала она тем порывистым женским шепотом, каким умеют шептать матери, когда им приходится защищать родное свое детище. – Постой!

Преображенец окинул жену странным взглядом, горько улыбнулся и стоял молча.

– Да постой, постой! – шептала Ироида Яковлевна. – Я знаю, что ты хочешь сказать... знаю! Но только ты не скажешь того... не скажешь – мне ведомо. Ты муж мне добрый, ты добрый дочке отец.

– Добрый для всех, да не для дочки! – произнес преображенец с отталкивающей холодностью в голосе.

– Неправда! – уже вскрикнула Ироида Яковлевна.

– Правда, государыня моя!

– Нет! Нет! – кричала мать в порыве неистовства.

– Так прочь же и ты от меня!

Сильный толчок заставил Ироиду Яковлеву отскочить от мужа. Она чуть не упала, кое-как удержавшись за подоконник. Между тем муж, старый преображенец, строго и рассчитанно, с леденящей холодностью, произнес слово проклятия над своей дочерью.

Глухо и тяжело прозвучало это слово в чистенькой комнатке так недавно счастливых супругов и сразило бедную мать, как небесной грозой.

– Доня... доченька моя!.. – только и могла в ужасе и сердечном трепете произнести несчастная Ироида Яковлевна.

Преображенец не слышал вопля жены. Пошатываясь, как пьяный, он куда-то уходил...

Глава XI

Под акациями сада

Чертова Сержантка утащила Иону Маркианьча в сад.

В саду было пустынно и глухо, в последнее время редко кто из обитателей малинового домика заглядывал туда – всем было не до того, чтобы любоваться красотами осенней природы.

А осень действительно была превосходна необыкновенно: сухая, теплая, ясная. Лист еще не опал, но уже бурел и желтел. Чувствовалась та всем известная отцветающая жизнь, которая всегда навевает на душу какое-то тихое и грустное раздумье: припоминается и свое отцветание, и своя осень...

Сад при малиновом домике состоял больше из кленов. Они были громадны и стары и царили над всей остальной зарослью, как гиганты. Теперь они, клены эти, были особенно хороши: желтый лист их сверкал и представлял из себя целую массу червонного золота. Все остальное уступало место этой своеобраз-

ной, чудной красоте и, казалось, само тихо любовалось на золотистый убор гигантов, которые редко, очень редко и очень неохотно, роняли уже части своего убора, и тогда падающие листья походили на порхающих в воздухе бабочек.

А вокруг, в саду, было тихо, необыкновенно тихо, и редкий крик маленькой синички, перелетающей с ветки на ветку, казалось, еще более увеличивал царившую тишину.

Торопливые шаги людей нарушили наконец эту тишину сада. В сад вошли два человека, вошли скоро, почти бегом.

Чертова Сержантка тащила за руку Иону Маркианыча и, задыхаясь, говорила:

– Иди же, иди! Беги скорее! Тут тебя не найдут! Ты тут спрячешься в кусты!

– Ох! Ох! – стонал Иона Маркианыч и, спотыкаясь, торопился за своей спасительницей.

Но вот они, по-видимому, в безопасном месте. Масса густых акаций со своими мелкими, еще вполне зелеными листиками окружила их со всех сторон

– Стой тут! – приказала Чертова Сержантка.

Остановилась сама и остановила Иону Маркианыча.

Оба они прислушались. По-прежнему было тихо. Попискивала одна синичка, где-то так близко возле них, что им казалось, что она попискивает над самым их ухом. Писк этот в сердце приостановившегося и еще не успевшего очнуться от испуга Ионы Маркианыча отзывался чем-то болезненным, так что он не выдержал и припугнул ни в чем не повинную птичку.

– Буде пицать! Нишкни! – произнес он сдержанным голосом и притопнул ногой.

И это было так наивно, так комично и так не вязалось с обстановкой беглецов, что спасительница вдруг рассмеялась, но так же вдруг и замолкла, припугнув самого Иону Маркианыча:

– Молчи ты! Чего кричишь? Услышат – придут, прибегут, тогда уж несдобровать тебе дурацкой головушке!

– И то! Ах! – прошептал Иона Маркианыч, невольно приседая к земле. – Эх я, тесина волоколамская!

– Тесина и есть! – сказала Чертова Сер-

жантка и спросила: – Чего там болтал? Чего городил? Что было?

– Ох, пустое совсем дело было! Ахти, какое пустое! Кабы знал – не рассказывал бы. Не думал, не гадал, чтобы старый солдат, старый дружище на меня посягнул!

Тут Иона Маркианыч рассказал, в чем было дело.

– Ах он, старый дурень, черт старый! – произнесла хулу на своего отца Чертова Сержантка.

– И впрямь дурень! – подхватил Иона Маркианыч.

– Было бы за что, а то – на-ка! – продолжала Чертова Сержантка. – Привязался к слову – и губить человека!

– И губить человека! – тут же подхватил Иона Маркианыч.

– Ведь этак-то за все можно осудить человека.

– За все можно!

– Ну да ты не бойся, Зуботыка, в обиду я тебя не дам.

– Родимушка! Пригожая моя! – умилился вдруг Иона Маркианыч и с искренними сле-

зами на глазах упал к ногам своей спасительницы. Он обхватил их обеими руками и начал целовать то одну ногу, то другую. При этом все продолжал шептать: – Родимушка! Пригожая моя!

Это повлияло на девушку одуряющим образом. Глаза ее сверкнули, щеки запылали. В сердце зашевелилось то ли чувство удовлетворенности, то ли чувство капризной прихоти, которые при известных условиях так свойственны женской натуре от восьмилетней девочки до шестидесятилетней старухи.

Чертова Сержантка глядела во все глаза на ползающего у ее ног Иону Маркианыча, этого уроды в образе человеческого, всеми забытого, всеми презираемого, и чувство жалости, смешанной с привязанностью, как-то само собой зарождалось в ее молодой груди. Было ли это отголоском прежних впечатлений, или же оно, чувство это, зародилось в настоящую минуту посреди этих акаций, посреди этой всеобщей тишины замирающего сада, девушка не знала да и не хотела знать. Но только ей все вокруг показалось неожиданно – и чем-то светлым, и чем-то приветливым до забвения.

И она точно вдруг забылась.

– Дорогой!.. Ладный!.. – невольно прошептали ее молодые уста.

И она сперва наклонилась к уроду, потом и совсем опустилась возле него.

– Ты не плачь... не плачь... – продолжала она. – Тебя никто не обидит... нет, теперь тебя никто не обидит... аль ты не видишь?..

– Ох, вижу, вижу! – отозвался урод.

– А видишь – молчи, молчи! Слышишь ли – молчи! Чтобы никто не знал, чтобы никто не ведал... Молчи!..

И она на мгновение замолкла, протерла глаза, как будто они у нее заслезились и, словно бы что-то соображая, продолжала тихим, проникающим в душу голосом:

– Я все давно знаю... все... я не маленькая... Ах, как мне не спится по ночам!.. Все-то душно, все-то сны в голову лезут... Вчера в ночь приснился мне ты...

– Я? – промолвил трепетно Иона Маркианыч.

– Ты, ты, урод чертов! – почти вскричала девочка, точно обозлившись на него. – Ты! – И она с силой оттолкнула от себя уroda.

Тот молча откатился в сторону, приподнялся, сел и сиротливо опустил голову.

Чертова Сержантка взялась руками за голову и, не обращая внимания на Иону Маркианыча, стала сама с собой рассуждать: «Девочка!.. Вот как!.. Какая же я девочка!.. Я девка... просто девка... Вон какая рослая, здоровая... Отец не напрасно назвал дубиной... Дубина и есть!»

Вдруг она тряхнула головой.

– Ты, уродина! – крикнула она Ионе Маркианычу,

– Ась? – отозвался тот пугливо.

– Скажи-ка ты мне: ведь девка я?

– Девка, государыня, девка.

– И рослая?

– И рослая.

– И здоровая?

– И здоровая.

– Так, стало быть, отец мне не указ?

– Не у... – начал было Иона Маркианыч и вдруг поправился: – Ах нет, нет, государыня! Указ! И большой указ! Отец дочке завсегда указ... так и в Писании сказано...

– Все ты врешь, чертова башка!

– Ах, не вру, государыня!

– Врешь! Кто же может человеку указывать, когда он вырос и по-своему жить может?

– Не может! – настаивал Иона Маркианыч.

– А еще ученая голова! – произнесла презрительно Чертова Сержантка. – Где же твоя ученость, коли ты до такой простой вещи не додумался! А тебе уж, поди, годов пятьдесят?

– Чутьочку поменьше,

– Поменьше? Вишь, какой молодец сыскался! Поди и женихом еще себя считаешь?

– Жених не жених, а человек еще здоровый, – продолжал возражать Иона Маркианыч.

Чертова Сержантка рассмеялась, но странный и как-то жесток был этот смех молодой девушки. В нем слышались и какая-то злость, и какая-то болезненная хрипота, и при этом все лицо ее подергивалось судорогой и пылало, как в огне.

– Здоровый? Человек еще здоровый? – заговорила она почти совсем хрипло. – Вижу, что здоровый... Да уж больно чучело... совсем-таки чучело... ну вот что на огородах ставят...

– Ставят, государыня, ставят! – соглашался Иона Маркианыч.

– И зачем ты такой страшный, такой урод?

– Вот так уродился.

Чертова Сержантка опять закрыла лицо руками.

– Ах, кабы ты был пригож! – произнесла она глухо.

– Погодь, дочка! – вдруг раздался над нею свирепый голос отца. – Увидишь еще и пригожих! Всего увидишь! А теперь... погодь еще маленечко, дочка, погодь!

Дочь быстро, не вставая, обернулась – и увидела искаженное злобой и даже безумием лицо старика-отца.

– Ты?! – вскрикнула она.

– Аль не ожидала? – загремел почти над самым ее ухом отец.

Дочь быстро вскочила.

– Уйди! Уйди отсюда! – вскричала она, смело выпрямляясь перед отцом.

Старый преображенец замахнулся, и удар его кулака направился прямо в грудь дочери.

– Вот же тебе, пакостница!

– А вот и тебе, батька! – взвизгнула дочь и

вцепилась руками и зубами в плечо отца.

Преображенец охнул:

– Проклятая! Прочь, прочь, гадина!..

Дочь молча продолжала свое дело: она кусала и царапала пойманное плечо и висела на нем, как шавка.

Вскочил наконец и совсем перепуганный Иона Маркианыч. Он хотел было бежать. Но старый преображенец сразу порывисто стряхнул с себя дочь и схватил его на бегу, сзади.

Иона Маркианыч вскрикнул, съежился и остановился, сознавая полную бесполезность всякого сопротивления.

– Припасен у меня гостинчик и для тебя! – захрипел над ним преображенец.

И вслед за тем в руках старого солдата что-то сверкнуло, а Иона Маркианыч с глухим стоном, как сноп, рухнул на землю.

А вокруг в саду было тихо, необыкновенно тихо, и редкий крик маленькой синички, перелетающей с ветки на ветку, казалось, еще более увеличивал царившую тишину...

Глава XII

Семейное горе

Не сразу опомнилась и пришла в себя дочь преображенца, оставшись наедине с распростертым на земле трупом Ионы Маркианыха. Иона Маркианых лежал весь в крови и уже совершенно без дыхания: нож обезумевшего от злобы преображенца покончил с ним сразу.

«Что же он сделал такое? Что сделал? – смутно мелькало в голове девочки. – Ведь он убил его, совсем-таки зарезал».

Машинально, сама не зная для чего, она шагнула к трупу и с каким-то неведомым ей доселе чувством любопытства заглянула в лицо мертвеца.

Труп лежал навзничь, несколько скорчившись. Правая рука с судорожно сжатыми пальцами была откинута в сторону, а левая подвернулась под бок. Залитое кровью лицо было неузнаваемо. Глаза были открыты, открыты широко, страшно, и оловянные зрачки застыли в своем ужасном удивлении. А кровь

все еще сочилась из горла, дымилась и тут же, чернея, застывала. В своей мертвой неподвижности Иона Маркианыч был страшен необыкновенно.

Несколько минут девочка не отрывала глаз от глаз мертвеца. Ей как-то не верилось, что перед нею лежит бездыханное тело, которое уж больше не встанет, не двинется, не подаст голоса. Она еще не была знакома со смертью и видела мертвого человека в первый раз. Как ни странно, но этот лежащий перед нею труп зарезанного человека почему-то не пугал ее, и она даже, наподобие хищного зверька, с какой-то своеобразной жадностью вдыхала в себя запах свежей крови. Затем она совсем наклонилась к трупу и захотела его приподнять. Хотя с усилием, но она его приподняла, придерживая за голову. Спертый воздух от этого движения выступил из груди мертвеца, но с таким звуком, что девочке показалось, будто Иона Маркианыч еще жив.

– Ионка, ты жив? – произнесла она с радостью.

Труп голоса не подавал, и девочка напрасно ждала ответа. Это было обыкновенное яв-

ление, какое нередко случается с трупами, когда их приподнимают.

Уверившись наконец, что Иона Маркианыч мертв, она встала и медленно пошла из сада. Какая-то болезненная дрожь пробегала по ее молодому телу, голова кружилась, и ее клонило ко сну.

– Бедный, бедный Ионка! – шептала она, пробираясь по саду, и при этом язык ее еле ворочался во рту.

Дома она тотчас же свалилась в постель, а к вечеру у ней открылся бред. Девочку схватила горячка.

Старый преображенец весь тот день где-то пропадал. Он возвратился только поздно вечером, и когда Ироида Яковлевна взглянула на мужа, то вскрикнула в ужасе и спряталась в своей комнате. Она забыла даже сообщить мужу, что дочь неожиданно заболела.

Долго преображенец бродил по дому, как привидение, иногда бормотал что-то, иногда смеялся, иногда грозил кому-то кулаком. Ироида Яковлевна все это слышала и трепетала в своем уголке. Не было сомнения, что старый преображенец помешался.

Ироида Яковлевна совсем растерялась, тихонько плакала, молилась и не знала, что предпринять. Ей, однако, не было еще известно, что муж убил Иону Маркианыча.

Старый преображенец бродил по дому до глубокой ночи. Утомленный, он хотел уже лечь спать, но вдруг, как будто что-то вспомнив, вскочил с постели, что-то пробормотал и выбежал из дома. Ироида Яковлевна побоялась его остановить.

Преображенец побежал в сад.

Глухая осенняя ночь давно уже окутала город. Москва спала. Раздавались только сторожевые трещотки, бой в чугунные доски да выкрики «караулю!».

В саду, темном и беззвучном, преображенец на минуту приостановился, прислушался и начал пробираться в глубину с осторожностью кошки. Он пробирался прямо к тому месту, где днем совершил преступление. Вскоре он наткнулся на то, что искал, – он наткнулся на совсем уже окоченевший труп Ионы Маркианыча. Тихо и бережно, сперва ощупав труп, он начал приподнимать его, а приподняв, взвалил его, точно какой-нибудь куль, на

свои здоровые плечи.

– Туда... туда... – прошептал преображенец и потащил свою страшную ношу в помещавшуюся в самом глухом месте сада беседку, старую, совсем почти развалившуюся.

Когда он приблизился к ней, какая-то крупная ночная птица, забравшаяся туда на ночь, услышав человека, завозилась там и захлопала крыльями. Преображенец вздрогнул и чуть было не уронил свою ношу. Но потом, догадавшись, в чем дело, и пробормотав: «Ну, дура, молчи», – твердой поступью вошел в беседку.

Тут он сбросил с себя грузную ношу, высек огонь и зажег заранее приготовленную восковую свечку. Слабый свет озарил внутренность беседки, заваленной каким-то деревянным хламом: досками, ящичками, обломками колес и еще каких-то принадлежностей.

– Вот тут... тут... – бормотал преображенец, оглядываясь. – Тут его никто не найдет... никто не увидит... Придут, поищут и уйдут... Туда не залезут... Нет-нет, я один знаю место...

С этими словами, преображенец осторожно начал разбирать доски, кладя их в сторон-

ку. Когда он их разобрал все, под ними оказалась дверь с кольцом. Он поднял дверь, которая некоторое время туго поддавалась его усилиям, и за нею оказалось какое-то черное пространство в земле.

– Ну, теперь все... – продолжал бормотать старик. – Туда – и все... пусть там лежит... никто не найдет... никто не увидит...

Он взял труп за ноги и поволок его к яме. В одну минуту труп очутился в отверстии. Преображенец заглянул туда со свечой в руках.

– Ага, там ему хорошо!.. – произнес он, загадочно улыбаясь искривленным безумием лицом. – Да, хорошо... хорошо... Прости, ученая голова! – вдруг почти вскрикнул он и торопливо опустил над ямой дверь.

Затем он завалил дверь досками в таком же роде, как они лежали прежде, задул огонь и вышел из беседки.

В дверях дома встретила его Ироида Яковлевна.

– Николай, ты нездоров? – спросила она тихо и участливо, боясь даже взглянуть на мужа.

– А! – торопливо произнес муж и остано-

вил свой взгляд на жене.

Он смотрел на нее так упорно и так страшно, что та перепугалась.

– Николай, ты лег бы... – еле-еле проговорила Ироида Яковлевна.

– Ну да... все заснем... все... – отвечал ей старик. – Все... Иона Маркианыч уж заснул... и не встанет... И не пикнул, когда я его... вот так...

Старик сделал неопределенный жест правой рукой.

– Вот так... и не пикнул... «Ага, попался-таки! – говорю я ему. – Постой, есть гостинчик и для тебя...» И вот так...

Старик вдруг пугливо начал оглядываться.

– Ты смотри, Ирочка... никому, никому не говори... – понизил он голос. – Чтоб никто не прознал, никто... а то...

– Да про что ты говоришь-то? – спросила жена в мучительном страхе, ничего не понимая в словах мужа.

– Молчи, молчи!.. А главное... Ах! – вскрикнул вдруг старик, хватаясь за голову. – Да не клади мне на голову топор!..

Наутро старик слег, забредил и уж более не

вставал. Ироида Яковлевна потеряла голову, очутившись неожиданно в самом беспомощном состоянии. Но ее несколько выручила старуха Ионы Маркианыча, явившаяся с розысками своего сожителя. Ионы Маркианыча она, разумеется, не нашла, да и не особенно-то заботилась об этом, а жить у Ироиды Яковлевны осталась. Старуха она была сметливая, проворная и за дело сиделки возле больных принялась охотно. Особенно охотно она ухаживала за дочерью старого преображенца, благоразумно рассуждая, что молодому жить надо, а старикам пора уж и в могилушку. Ироида Яковлевна, напротив, сочувствовала больше своему старику, с которым прожила столько счастливых лет. Но дни старика были уже сочтены, и она напрасно бежала для него по всем закоулкам Москвы, отыскивая знахарок и лекарок, напрасно поила его всякого рода настоями из трав. Старик хирел все более и более. Он страшно исхудал, седые волосы его все повылезли, и он лежал на постели, как скелет. Почти все время бред не покидал старика. Он бредил битвами со шведом, бредил тем, как однажды великий импе-

ратор потрепал его под Нарвой по плечу, назвал молодцом и наградил пятью рублями серебром. Эти пять рублей обогатили его – он на них разжился. Бедный, никому не ведомый сержант купил себе такой хорошенький домик на Сивцевом Вражке! «Женка, женка! – лепетал старик. – Как нам хорошо жилось! Домик, садик, земли много, и всего-то вволю, вволю... где же это все? где?... или я не хозяин здесь? Ионка хозяин?.. Ионка?.. Ха!.. А я ему – вот как... вот!..» И старик махал исхудалой, как щепка, рукой.

Накануне смерти, придя несколько в себя, он пожелал видеть дочь.

– Сюда ее... ко мне... ко мне...

– Но и она хворает, – сообщила Ироида Яковлевна.

Старик помолчал, пожевал губами.

– Хворает?

– Хворает.

– Покажи мне ее хворую.

Старику принесли начавшую уже поправляться дочь. Он долго смотрел на нее, а потом вдруг зарыдал.

– Прощаю... прощаю... – заговорил он

сквозь слезы. – Снимаю проклятие...

Дочь тупо смотрела на отца, не проронив ни одного слова, и ее унесли от старика с каким-то холодным, упорным выражением на бледном лице.

– Постойте... постойте... – силился вскрикнуть старик, когда уносили от него дочь. – Дайте мне ее поцеловать... дайте!..

– Не хочу! – ответила ему резко и неприязненно уносимая дочь...

– А!.. – простонал старик и откинулся головой на подушку.

Через несколько минут, комната наполнилась горьким женским рыданием. То рыдала Ироида Яковлевна над трупом своего дорогого мужа.

Старого преображенца не стало, и не стало именно в тот день, в день 17 октября 1740 года, когда в Петербурге не стало и императрицы Анны Иоанновны.

Сбылось предсказание Ионы Маркианыча. Не напрасно старый преображенец сказал за собой «слово и дело». Но это же «слово и дело» и погубило их обоих и наполнило когда-то счастливый малиновый домик стоном и ры-

даниями. Счастье унеслось из него куда-то далеко-далеко, как уносится оно отовсюду, где бы ни побывало, где бы ни свивало себе на вид кажущегося прочного гнезда. Унеслось – и позабыто все, все утрачено, а после утраченного кажущегося счастья несчастье кажется еще горше, еще тяжелее, раны горя кажутся еще больнее.

О, так будь же ты проклято, наше непрочное человеческое счастье!

Глава XIII

Своя воля

Кости покойного Преображенского полка сержанта Николая Митрофановича Иванова упокоились в ограде церкви Святого мученика Власия, что в Старой Конюшенной.

Немного народу провожало покойного сержанта, и немного слез было пролито над его гробом. Плакала одна Ироида Яковлевна и, возвратившись домой, тотчас же слегла сама, да уж и не вставала более: через месяц, не более, не стало и ее – умерла и она, не в силах будучи перенести потери горячо любимого

ее мужа.

Перед смертью она все-таки благословила дочь, постаралась через знакомых подьячих передать все имущество дочери, хотя и несовершеннолетней, но уже взрослой и благоразумной, как значилось в передаточной бумаге. Дашутка (так в последнее время называла ее мать) не отходила от постели умирающей, сидела возле, подолгу вглядывалась в ее исхудалое, позеленелое лицо, и на глазах ее иногда наворачивались слезы.

– Умру... умру... – еле слышно говорила больная женщина. – Останешься одна... одна... сиротинкой... Ох, Дашутка, трудно жить на свете сиротинкой... всякий-то обидит... всякий-то слово скажет бранное...

– Может, кое-как и проживу, матушка, – отвечала утрюмо дочь.

– Ох, не проживешь одна-то... ох, не проживешь... Не судил Господь мне, матери, устроить тебя... Тогда бы уж и умереть легко... и умерла бы, устроивши-то тебя, дочурка...

– Не печалься, в обиду себя не дам...

И точно, Дашутка себя по смерти матери в обиду не давала. Диву дались соседи, как это

так девчонка стала всем домом заправлять. Сперва находились было молодцы-парни, которые хотели втереться в дом, чтобы забрать вместе с молодой хозяйкой все в руки, да получили от нее такой отпор, что не только сами отказались обмануть девчонку, но и другим заказали покушаться на это. Одного такого молодца она вымазала дегтем, обваляла в перьях и выгнала за ворота. Другого чуть не заморозила в снегу. С третьим поступила еще проще: долго он помнил веники малинового домика и две злорадные фигуры каких-то злорадных здоровых баб. Это были две новые, необыкновенно сильные жилицы малинового домика, которых откуда-то добыла для услуг в доме бывшая сожительница Ионы Маркианыча. В их руках все кипело, как у самых заправских мужиков. Одна из них, высокая, краснощекая, дебелая, лет тридцати, по имени Фива, исправляла даже обязанности кучера. Фива ловко правила красивенькой савраской барышни и катала ее, барышню, в случае надобности по Москве, одевшись в кучерской кафтан. Другая занималась больше по хозяйству. Обеих их Дашутка очень люби-

ла, все им доверяла и не боялась с ними ничего. В особенности же она любила Фиву. Без этой краснощекой обитательницы малинового домика Дашутка не могла пробыть и часа. Она с ней беседовала, гуляла и даже спала вместе.

В одно декабрьское утро взгрустнулось что-то Дашутке. Позвала она Фиву и завела с ней речь.

– Не по себе мне чтой-то, Фива, – сказала Дашутка.

– Ой ли? – удивилась Фива.

– Право же.

– Ах-ах! – заахала Фива и закачала головой.

– Придумать бы что... развеселиться, погулять... – надумалась Дашутка.

– Погулять хорошо, красавица моя, золотая моя, – согласилась Фива. – Повелишь – пойду запрягу савраску-то, прокатимся по Москве-то, по матушке.

– Надоело мне катание, Фива. Хочу чего другого.

– Чего ж такого, золотая моя?

– А уж и сама не додумаюсь.

Фива, склонив голову, задумалась, потом

краснощекое лицо ее озарилось загадочной улыбкой, и она тихо проговорила:

– Дело ведомое: одни да одни... хорошо бы и в другой компании побывать...

– В какой такой?

– Вестимо в какой... в мужской компании...

– Уж не к себе ли вам, Фива, позвать мужиков-то? – возразила Дашутка. – Чай, сама знаешь, как мы отсюда выпроводили молодцов-то, удальцов-то разудалых. Больше не придут.

Фива искоса поглядела на Дашутку и, заметив, что та не прочь продолжать речь в начатом роде, с несколько иронической усмешкой на лице уклончиво проговорила:

– Уж где прийти, золотая моя! Не придут. Тут им пришлось несолоно хлебать, особливо последнему, тому-то рыжему, с бородавкой на щеке.

Как будто припомнив что-то забавное, Фива захихикала в кулак, потом вдруг смолкла и остановила взгляд на своей повелительнице.

Та молчала, как будто что-то обдумывая, и глядела рассеянно в окно, выходявшее в сад. Ей почему-то припомнился Иона Маркианыч,

этот жалкий урод, погибший на ее глазах. Она припомнила, как это поразило ее, как она заболела и как во время болезни ей все грезился окровавленный труп ее учителя. Но куда же подевался труп? Вопрос этот на несколько минут занял ее. А между тем Фива все стояла перед ней и все чего-то ждала, тихо и терпеливо, не трогаясь с места.

– Чудно! – вдруг произнесла Дашутка совсем тихо, как бы прислушиваясь к своему голосу и не отрывая глаз от окна, из которого виднелись обрамленные снегом деревья.

Фива наострила уши:

– Что чудно, красавица моя?

– А то, – продолжала Дашутка. – Со мной нынче в ночь, когда мы не спали вместе, случилось такое, чего я досель забыть не могу.

– Ну? – подошла к ней Фива.

– Середь ночи вдруг проснулась я, Фива, не разбуженная никаким шумом, беспричинно, и чую, что есть кто-то в комнате...

– Ах ты, страсть какая! – тихо и искренне воскликнула Фива.

– Что за страсть! Я ни чуточки не испугалась. Спросила только: кто тут?

– Ну? – тревожилась Фива.

– Ну... кто-то и ответил: я... И голос такой молодой, такой чистый...

– Ужели так и ответил?

– Так и ответил...

Фива закрестилась:

– Ах, боже, боже! Какие дела-то бывают на свете! Ведь вот и я припоминаю одно такое дело-то! – начала она несколько таинственно. – Аль рассказать, красавица моя, дорогая моя?

– Расскажи, Фива, я послушаю, может, и веселее станет. Ты врать мастерица.

– Зачем мне врать, красавица! Врать мне перед тобой не след – не врунья я, не болтунья, не какая-нибудь трещотка деревянная. Говорю всегда правду-расправду. Вот умереть!

– Ну, говори свою правду-расправду.

– Уж скажу, скажу, коли начала. Дело-то было давно, и было оно у нас под Курском, на селе на Монастырском, – из монастырских ведь я, государыня моя. Вот и была, чу, у нас под Курью, на селе на Монастырском, девка ражая, девка пригожая, Павлюшка прозванием. Уж такая-то была мастерица на все, на все

затейница – любо-дорого! Мы, девки, от нее ни на шаг. Без нее ни песен не поем, ни хоро-водов не заводим, так и таскаемся за ней, словно дуры. Да и смелая была девка: ни одному парню, бывало, спуску не даст, обиды не снесет. Зубастая была девка. Вот и захотелось раз о Святках Павлюшке-девке погадать о своем суженом-ряженом. Забралась она в баню-то, взяла с собой зеркальце, восковую свечку пасхальную – да и засела там. Мы, девки, ищем Павлюшки – нет Павлюшки, точно в воду канула наша веселая Павлюшка. Поискали, побегали мы, девки, да и легли спать. А Павлюшку-то только утром нашли, в бане-то и нашли, чу, еле живую...

– Что же было с ней, с вашей Павлюшкой-то? – спросила как-то безучастно Дашутка.

– А то было с ней, – продолжала рассказчица. – Пришел к ней, чу, паренек, стал сзади да и говорит: «Я твой суженый-ряженный, да только не быть тебе за мной, девка, без того чтоб ты меня с бою, с драчки не сыскала. Я, говорит, молодец, кулачный боец!» – да тут же и стукнул ее кулачищем в бок.

– Эк ты врать мастерица, Фива! – не утерпела Дашутка.

– Ей-ей! Так кулачищем в бок и саданул!

– Вестимо, парень живой затесался, да такую шутку над вашей Павлюшкой и сшутил.

– Совсем не живой! Павлюшка с ним опосля только встренулась, и был он, чу, совсем из другого села, из далекого. А как встренулась – тут-то, красавица моя, и загадочка мудреная.

– А ну поведай свою загадочку мудреную! – заинтересовалась несколько Дашутка.

– А встренулась она так. Хотя Павлюшка и не знала парня, и впервой его видела, да и кулак парень имел здоровой, все же он пришелся ей по душе, по сердцу, и затосковала по нем девка с той же ночи. А затосковавши, искать его начала. Ищет там, ищет сям, всюду своим девичьим глазком приглядывается, своим девичьим ушком прислушивается, своим девичьим язычком выпытывает – нет нигде такого парня, да и только. Смеемся мы, девки, над Павлюшкой, шутим. «Парень, мол, заморской, не простой, – говорим. – Поди, за тридевять земель живет-поживает, тебя, Пав-

люшка, поджидает. Поезжай туда, девка, за тридевять земель-то!» А Павлюшка сама смеется. «Нет, – говорит, – парень таковской есть, и я его сыщу». И что же, сыскала ведь.

– А как? – уже совсем заинтересовалась Дашутка.

– А так. Надела раз девка кафтан молодецкой, подпоясалась кушаком, шапку набекрень надвинула, рукавицы взяла да и пошла на Тускару-реку, на бой на кулачной.

– Вона девка какая! – воскликнула Дашутка, все более и более заинтересовываясь рассказом Фивы.

– Девка бедовая! – подтвердила Фива и продолжила: – Там уж было, на Тускаре-то, на реке, народу много-премного. Все больше парни молодые, здоровые. Побежали и мы, девки, хохочучи, за Павлюшкой-то. Что, мол, думаем, будет делать Павлюшка? А Павлюшка... что бы ты думала, красавица моя?.. Павлюшка тоже на кулачки биться пошла. Так и пошла.

– Ну а дале? – встала из-под окна Дашутка и подошла к Фиве.

– А дале... дале-то сперва хорошо, потом

плохо. Павлюшка-то ведь парня свою нашла. Глядь – а он бежит прямо на нее и точь-в-точь такой, каков приходил к ней в баню. Видели мы, что Павлюшка вскрикнула да так и встала на месте. А парень на нее. «Бережись, – кричит, – а то зашибу!» А девка ни с места. Глядит, глаза выпуча, да рдеет вся лицом, что ягодка. Тут парень и угодил ей под хряшки в бока. Покачалась девка маленечко, прошептала тихохонько: «Милый, милый...» – да и свалилась на снег. Мы кричать, плакать, парня укорять. А он: «Не знал, не ведал, девицы-красавицы, простите!» А сам наклонился над ней, да и взвыл: «Да ведь я-то тебя, дорогая, во сне видел, тобой, удалой молодец, бредил! Очнись! Очнись!» Очнулась Павлюшка, точно что очнулась, да только для того, чтоб вздохнуть напоследях да Богу душу отдать. Померла наша Павлюшка. Слышно, потом и парень с собой покончил – топором в грудину хлестанул. И уж выли мы, девки, тогда! Ах как много выли мы тогда! – заключила свой рассказ Фива и удивилась, глядя на Дашутку, стоявшую перед ней с пылающим лицом и со сверкающими удальством глазами.

– Фивка! Сейчас мне кафтан, кушак, шапку, рукавицы! – приказала взволнованная девушка. – Хочу и я на кулачный бой, на Москву-реку! Хочу! У меня теперь своя воля!

И Дашутка притопнула ногой.

Не более как через час из ворот малинового домика, скрипя полозьями, выехал возок. Бодрый савраска фыркал и порывался вперед. Им правила не узнаваемая теперь Фива, в темном кафтане, с бараньей шапкой на голове. В возке сидела Дашутка. Она была в собольей шубке, крытой зеленым бархатом, и в собольей же шапке с зеленым же верхом.

– Ну, трогай! – крикнула она. – Сперва по Троицкой, потом на Москву-реку!

Конек вдруг взмахнул головой, раза два сильно рванулся вперед, перебил ногами и подхватил, несясь опроретью вдоль по длинной и гладкой белой улице. Морозный воздух свистел мимо, и у Дашутки дух захватывало. Все кругом несло, кружилось и металось, как будто пересыпалось и падало.

– Песню, Фивка! – приказала удалая девушка, когда возок, проскакав Ямскую, мещанскую слободку, очутился на Троицкой дороге.

И Фива, попридержав несколько савраску, заорала весьма модную в то время в Москве песню, сочиненную царевной Елизаветой Петровной:

*На селе, селе Покровском,
Среди улицы большой,
Разыгралась, расплясалась,
Красна девица, душа!*

Прохожие только сторонились, заслышав эти звуки, вылетавшие из здоровенной груди.

А звуки песни все неслись, все неслись и таяли в морозном воздухе, и казалось, им не будет конца. Здорова была орать краснощечная, дебелия Фива-кучер.

Глава XIV

Кулачный бой

Ярко-огненное, но холодное зимнее солнце низко стояло над обрамленными снегом садами Замоскворечья, когда бойкая савраска Дашутки, вся в инее, подкатила к церкви Николая Чудотворца на Берсеневке.

Напротив этой церкви на Москве-реке, на льду, почти во все прошлое столетие обыкновенно происходили кулачные бои. Со всех сторон Москвы в полдень, после обеда, по воскресеньям и праздникам, а нередко и в будни собирались удалые молодцы, чтобы потешить себя кулачным боем, поразмять свои косточки да и чужих не пожалеть.

Собирались к бою удалые молодцы, старые и молодые, да и подростки как будто нечаянно, как будто мимоходом, на скорую руку. «Иду, мол, Москвой-рекой, вижу – народ сволочился, греться собирается. Отчего, мол, и мне не побаловать маленько, не погреться-то?» И для подобного грения собиралось иногда народу тысячи по три, по пяти, при-

чем немало было и просто глазающих людей, и людей из высшего круга, да немало и женщин, любовавшихся боем большею частью из своих закрытых ковровых возков с медвежьими полстями. Не упускали случая побывать «на боях» и молодые девушки. Вообще кулачный бой был для всех самой обыкновенной и притом самой любимой забавой.

Несколько ранее, до Петра и при Петре, кулачные бои имели даже довольно мрачный характер. В то время любители боев обыкновенно собирались в партии, летом на широких перекрестках, а то и просто на обширных дворах домов, зимой – непременно на льду, и таким образом составлялись две враждебные стороны. По данному знаку свистком обе стороны бросались одна на другую с криками «бережись!» – и начиналась общая свалка, причем для возбуждения храбрости в охотниках особенные музыканты громко били в бубны и лихо играли на гудках и свирелях. Бойцы поражали друг друга в грудь, в лицо, в живот, поражали неистово и жестоко, и очень часто многие уходили с боя калеками, а других выносили мертвыми.

Нередко вместо кулаков начинали драться палками, и эти бои имели подобие каких-то своеобразных турниров, сопровождавшихся еще чаще кулачных боев убийствами. Не быть хоть раз в жизни хорошенько битым считалось даже для «добра молодца» своего рода позором.

И в самом деле, могли ли быть срамом побои в те времена, когда все дралось сверху донизу и хвалилось дракой как доблестью, и хвалилось крепостью своих боков с синими пятнами, как природным панцирем! Всякому мужчине со здоровым телом и здоровым кулаком хотелось быть богатырем своей земли, и он не боялся ничего, ни перед чем не падал духом, не клонил своей удалой головы, и народные сказания о мощности богатырских ударов и богатырской устойчивости в перенесении тех ударов являлись с двумя венками: один надевался на нападающего, который сразу ломал ребра и разбивал челюсти супротивника, а другой – на того, кто молча, без стоны выносил подобные увечья. Русское молодечество уже с детского возраста было помешано на таких картинах, на картинах без-

заветного отчаяния и славы. Бесшабашные удальцы если и не верили в свои сверхъестественные удары – разбей, мол, череп, – зато крепко верили в молчаливое перенесение тяжких побоев, да и смерть им геройской казалась. Они знали, что ежели кому из них суждено лечь насмерть в честном бою, где он пробовал свою железную силу и свое железное терпение, то на похороны его будут смотреть из своих слюдяных окон боярыни с любовью, красны девицы с грустью, горожанки из калиток с печалью, и все на разные голоса промолвят: «Ай да ясный сокол! И стоял – не пятился, и упал – не кручинился, и идет на смертный одр – не охает!»

Так бывало после кулачных боев в сумерки. А вечерком у каждой, может быть, зажженной лучины или у свечи воску ярого молва вела речь о таких чудесах на бою, каких чудес в бою и не бывало, но молве верили на слово и не смели ей не верить. Не боялся такой молодец, коли провинится. И кнута жгучего не боялся, коли не был виновен, и стать перед грозные очи царевы не боялся, и дерзко упорствовал, коли не хотел выдать

своих воров-товарищей.

Вот он идет, подобный упорный вор-молодец, из Кремля, из Кремля – крепка города. И народная песня того времени повествует нам о таком удалце-молодце, о таком царском изменнике в таких выражениях:

*Как ведут казнить добра молодца,
Добра молодца, большего боярина,
Что и свет атамана стрелецкого,
За измену супротив царя-батюшки.
Перемог боярин кнутья застеночны.
Измочалил спинушкой ремни моржовые,
Не потешил он стоном допросчиков,
И идет теперь, молодец, не оступается.
Он и быстро на весь народ озирается,
Царю-батюшке не покоряется.
Перед ним идет грозен палач,
В руках он несет остер топор.*

А идут за ним отец и мать,
Отец и мать, и молода жена.
Они плачут, как река бежит,
Возрыдают, как ручьи шумят:
«Ты, дитя наше милое, кровное!
Покорись ты царю-батюшке,
Выдай своих воров-товарищей!
Авось тебя Бог помилует,
Государь-царь пожалует!»
Молча идет удалой стрелец,
Не простой стрелец, атамануш-
ка.

Закаменело его сердце молодец-
кое:
Он противится царю, упрямству-
ет,
Отца, матери не слушает,
Над молодой женой не сжалится,
Малых детушек не болезнует.
Привели его на площадь Красную,
Отрубили буйну головушку,
Что по самые плечи по могучие!

Понятно, что такой молодец-удалец и жить хотел, умереть был не прочь да и семью свою любил особой богатырской любовью. Но в день казни что же ему напоминала его кровная, дорогая семья? Какие картины про-

бегали в его голове по дороге на плаху? Несомненно, грезилось ему его младенчество, когда он сидел на коленях у матери и смотрел в окно слюдяное. А мимо несли под руки на смерть убитого молодца с боя кулачного. А родимая его матушка словно теперь кричит ему на ухо, как тогда кричала, в окошечко: «Ай да ясный сокол, боец-сорванец! И стоял он – не пятился, и упал – не кручинился, и идет на смертный одр – да не охает!» В отрочестве то же участливое восклицание он слышал у калитки. Возмужав, он сам ломал ребра товарищам. В зрелом возрасте за чаркой меда или браги он слушал подобные же речи: «Не бойся, мол, пытки – бойся измены товарищам! Не жалей тела – жалей слова! Да и знай, что у молодца жизнь – копейка, а голова – дело найденное!»

Под влиянием такого молодчества среди мужчин молодечествовали и женщины, невзирая на свое затворничество. В Древней Руси многие женщины и девицы всю жизнь носили мужские кафтаны да и стояли наряду с мужчинами. Когда было нужно, и женщина умела постоять за себя. Мы тому видим нема-

ло примеров в пословицах и былинах. Говорилось: «Женина родня идет в ворота, а мужня – в прикалиток». Или: «Женина родня – отвори ворота, мужнина – запирай ворота». Поговорки подтверждают то же. Забубенный парень-жених говорит своей удалой невесте: «Не тужи, красавица, что за нас пошла: за нами живучи, не улыбнешься!» И бой-девка отвечает: «Да и нас возьмешь – не песни запоешь». Потом такой же сорванец говорит такой же буйной головушке: «Красна девица, за нами живучи, за пустой стол не сядешь, а всегда со слезами!» И девка отрезывает ответом: «За такую услугу и от нашей стряпни каждый медовый кус и у вашего брата поперек горла станет!» Мужья били своих жен, били за всякую малую вину, но и жены умели мстить по-своему. Недаром распевалась песенка:

*Ты жена, змея, скоропея лютая:
Из норы ползешь – озираешься,
По песку ползешь – извиваешься,
По траве ползешь – всю траву сушишь.
Иссушила ты в поле травоньку.
Все цветочки лазоревы!*

*Ты жена, змея подколодная!
Иссушила ты меня, молодца,
Как былинку на камешке!*

Пела и жена после мужниной расправы:

*У меня, младой, строченые бока!
А и всем я не потешу дурака —
Я свою ли простофилю-мужень-
ка!
Поведу я дом по своему уму.*

И точно, она вела дом по своему уму и дурачила как хотела мужа, и эта нравственная пытка была для мужа больнее побоев.

Есть указания, что девицы в борьбе частенько побеждали добрых молодцов. В одной песне парень подошел к девичьему хороуду и хвастливо вызвал девицу, которая бы могла с ним погулять. Девица такая отыскалась. Вышла и говорит парню:

*Стой-ка, молодец, обостойся,
Со мной, девицей, пораздорясь,
Пораздоривши, поборемся!
Девка молодца поборола,
На нем синь кафтан замарала,
Шелковый кушак изорвала,
В руках тросточку изломала,*

*Пухову шляпу долой сбила,
Все кудерочки столочила!*

Таковы-то были и женщина и девушка в те далекие могучие времена, когда у всех ради удовольствия трещали бока и сворачивались набок «салазки».

Добродушное было время!

Глава XV

Боец

Зеленая шубка Дашутки, вроде кафтана-однорядки, и ее набекрень надетая бобровая шапка сразу обратили на себя внимание одного силача, как только она выскочила из возка.

– Гей! Зелен кафтан без изъян! – крикнул он, оскалив зубы. – Не бока ль погреть, с нами попреть сюда прикатил? Коли к нам, так, стало, из носу клюквенный квасок пустить захотел! Ха-ха-ха!

Силач разразился грубым смехом и стал поворачивать во все стороны довольно пьяное и потому красное лицо свое, надеясь найти в окружающих сочувствие своему остро-

умию. Толпа вокруг была велика. Но все как-то не обратили внимания на шутку силача, а наблюдали за двумя стенками мальчуганов, которые делали почин: с гамом быстро кидались друг на дружку и так же быстро отступали. С берега они казались налетающим друг на дружку черным роем, мухами.

Кто-то в толпе, с берега, громко, но хрипло одобрял и подзадоривал мальчуганов.

– Не робь, не робь, ребята! – кричал он. – Вали валом – будет лом!

В толпе слышались смех, шутки и замечания:

– Дробны севодня чтой-то ребятки!

– Ребятки – мякина!

– Дрянъ ребята!

– Намедни не в пример ходовитее были!

– Те были ходовитее!

Со стороны стенок слышался шум и визг. Ребятишки, воодушевленные и холодом и насмешками, с ожесточением бросились друг на дружку. В одно мгновение все смешалось и перепуталось. Обе враждующие стороны представляли теперь одну громадную кучу, из которой как-то странно мелькали голо-

вы и руки борющихся. Общего шума и визга уже не было. Слышались одни только одиночные, точно молящие о пощаде, выкрики. Затем все враждующие как по команде стали рассыпаться и бежать друг от друга. На льду, однако, осталось несколько борющихся, которые медленно приподнимались и очищали с кафтанишек снег.

Среди них вдруг очутился низенький, толстенький мужичок, махая руками в рукавицах и крича во все горло:

– Ребятки, разбегайся! Долой, ребятки!

Ребятки торопливо улепетывали по сторонам, некоторые хныча, некоторые прихрамывая, и вскоре место, где они боролись, совсем очистилось. Остался на нем один мужичок, к которому мгновенно, точно выскочив из-под льда, подбежал другой мужик, росту несколько повыше, но все же невзрачного вида, и хлопнул его по плечу.

– Дядя Ефрем! Пора и нам! – сказал он.

– Пора! – было ему ответом.

Дядя Ефрем отскочил в сторону и пронзительно засвистал. На его свист ответило со всех сторон еще несколько свистков, и на лед

с берега быстро хлынула большая толпа бойцов, которые, точно хорошо обученные солдаты, торопливо разделились на две партии и стали плотной стеной друг против друга. Несколько мгновений прошло в каком-то молчании. Потом с обеих сторон одновременно послышались выкрики, похожие на лошадиное ржание. Обе толпы ринулись друг к дружке, и все мгновенно смешалось в этом хаосе криков, возгласов, стонов, брани и какого-то необыкновенного пыхтения и храпа...

Кулачный бой начался по всем правилам, какие были созданы тогда для этого рода потехи...

Несколько минут Дашутка не трогалась с места, стоя на берегу, в сторонке. Но ее подмывало бежать туда, где происходила борьба, и она не выдержала наконец: крикнула Фиве беречь савраску и бросилась на лед. На льду она, не помня себя от какого-то дикого упоения при виде этих падающих и кричащих людей, с жаром бросилась на первого попавшего бойца и ударила его кулаком прямо в грудь. Тот приостановился, измерил соперника ровным холодным взглядом и так же ров-

но и холодно шагнул к нему. Дашутка почувствовала боль в боку и зашаталась.

– Голова дурова! – кто-то проговорил над ней. – И усишки еще не показали, а туда же – в драку лезет!

Когда Дашутка очнулась от жгучего холода на голове, то ее поддерживал тот самый боец, которого она ударила в грудь. Он теперь ласково смотрел ей в глаза и тихо спрашивал:

– Говори, где ты живешь? Я отвезу тебя домой...

– Там... там...

Дашутка указала, где стояла ее савраска.

– Ах, дурочка, дурочка! – шептал ласково боец, не переставая заглядывать ей в глаза.

И Дашутке почему-то хорошо было от этого взгляда, и она невольно прижималась к тому, кто ее нес, как ребенка, к возку.

В возке она опять позабылась и только как будто сквозь сон помнила, что кто-то говорил возле нее. Из всего этого разговора она почему-то запомнила одно слово, и оно одно наполнило весь ее больной мозг, и слово это было – Салтыков...

Глава XVI

Под волчий вой

Дашутка очнулась у себя только на постели, совсем раздетая. Возле нее сидела верная Фива, ахала что-то, шептала и прикладывала ей к левому боку какие-то тряпки. Бок у ней тупо ныл, но она почему-то чувствовала себя хорошо. Ее кидало в тот жар, который так обыкновенен после обмороков.

– Эк его, черт, саданул как! – были ее первые слова, когда она очнулась.

Фива заахала еще сильнее и начала уговаривать девушку успокоиться.

– Он был тут? – спросила Дашутка после некоторого молчания.

– Был, был, как же, был, золотая моя! – ответила Фива. – И какой добрый барин! Ах какой добрый барин! – заключила она, припомнив несколько золотых монет, сунутых ей в руку добрым барином.

– Кто он?

– Из военных.

– Зовут как?

– Салтыковым зовут, Глеб Алексеич по имени-отчеству.

– Вишь, черта понесло куда – на кулачный бой! – произнесла девушка и задумалась.

– Что бочок-то? Бочок-то что? – беспокоилась Фива.

– Пройдет бочок, не всегда ж ему болеть! А ты скажи: долго он тут был, что делал?

– Все сокрушался, золотая моя, все сокрушался! – докладывала Фива. – Ах как сокрушался! «Злодей я, – говорит, – злодей! Как я мог не разобрать, что передо мной девушка, и такая молоденькая, хорошенькая девушка! Буду просить, – говорит, – прощенья, на коленях буду просить, буду целовать руки и ноги!» Так и говорил, золотая моя. А сам нет-нет да и посмотрит на тебя. Я ему: «Уйдите, барин, нехорошо так-то возле девочки быть!» А он: «Простите, простите, я совсем потерял голову!» И все волосы ерошит, и все руки ломает, и из угла в угол мечется. Такая жалость было глядеть на него, на бедненького!..

– Вишь, толсторылый черт, тоже на бар заглядываться начала! – прервала красноречие Фивы Дашутка.

– Ах, ах! – заахала Фива. – Чтой-то я за дура такая, чтоб на важных бар заглядываться! Баре не про нас. Мы народ деревенский, простой.

– А придет он опять?

– Обещался. «Приду, – говорит, – непременно приду. Сперва пришлю доктора, потом сам приду».

Вечером приехал присланный Салтыковым доктор. Это был сухой как щепка и длинный как жердь немец, еле говоривший по-русски. Дашутка больного бока ему не показала и без церемоний выгнала вон, когда он стал настаивать, чтобы она показала больное место. Она даже так толкнула доктора в грудь ногой, что тот еле удержался на месте.

Обругав девушку русской свиньей, доктор уехал и, само собой разумеется, более не появлялся.

На другой день, с утра, Дашутка поднялась как ни в чем не бывало. Она даже собралась было ехать отыскивать бойца, но тот предупредил ее: приехал сам.

– Ну что? Что? – влетел к ней Салтыков. – Неужто боль прошла?

– Породы невеликой – кулаком в могилу не вгонишь, – ответила девушка.

– Как я рад! Как я рад! – восклицал Салтыков, пожимая руку девушки.

– Да рада и я, что вижу тебя, молодец! – было ему откровенным ответом со стороны Дашутки. – И право, ты молодец не на шутку, – добавила она, любуясь на статную фигуру ротмистра и на его красивый гвардейский мундир.

Как не был молодцеват и смел гвардии ротмистр, но такая откровенность со стороны девушки сильно смутила его.

Он замялся и пробормотал:

– Точно... точно... у нас мундир красивый... прекрасный у нас мундир...

– Да не о мундире речь. Речь о тебе. На чучело и золото надень – все дрянь будет.

– Точно... точно...

– Да ты не стыдись меня, молодец! Чай, красная-то девица я, а не ты! – смело говорила девушка. – Вишь какой! На кулачном бою стоял, не пятился, кулаком лихо работал, а тут передо мной в конфуз пришел! Не бойся, не кусаюсь, а коли и укушу такого молодца,

как ты, так не больно!

– Все это так ново для меня, так неожиданно, – объяснялся молодой ротмистр, – что, право, на моем месте всякий бы растерялся!

– А еще ротмистр! – заметила девушка. – И мундир надел такой красивый!

Она засмеялась и вдруг схватила ротмистра за руку:

– Ну ты, молодец-удалец, чего насупился? Будь веселей! Не по сердцу мне те, кто насупливается да речи с бабой держать не умеет!

Ротмистр дрогнул. Прикосновение горячей руки молодой девушки к его руке обдало его каким-то жаром. А она стояла возле него близко, совсем близко, так что он слышал даже ее дыхание и чуть ли не биение сердца.

Так прошло несколько мгновений, в которые девушка прямо и дерзко смотрела в глаза молодого ротмистра, а тот и не знал, что сказать ей при такой неожиданной okazji.

Затем она тряхнула головой.

– Постой! – сказала она. – Я кое-что надумала!

– Ну? – вырвалось у ротмистра с таким добродушием, как будто он знаком был с девушкой.

кой давно и привык держать себя просто и откровенно.

Дашутка поняла это:

– Вот и хорошо, что заговорил по-человечьи! А то на-ка – стоит да глазами хлопает, будто у него и языка нет! Надумала я вот что: ну-ка, молодец-удалец, прокати куда подале свою кралечку, девицу-красавицу, потешь ее сердечко неразумное! Люблю я, молодец, езду бойкую, отчаянную! Ой как люблю!

– Ха, да я и сам охоч до сего! – отвечал ей ротмистр.

– А коли охоч, так и катим! У тебя своя лошадь-то?

– Лев, а не лошадь!

– С кучером, чай?

– Несомненно.

– Ну так ты кучера-то с передка по шеям. Он при нас будет лишний. Сам вожжи возьми!

– Хорошо придумано.

Ротмистр быстро вышел и отправил кучера домой. Возвратившись, он застал девушку совсем уже одетой.

– Я готова! – сообщила она.

– Любо! – ответил ей ротмистр и в самом деле залюбовался хорошенькой фигуркой девушки.

В своей собольей шубке и собольей шапочке она была просто восхитительна.

На дворе быстро темнело. Когда они выехали и проехали несколько улиц, наступила уже морозная и месячная ночь. Но месяц как-то тускло светил в туманном небе. Улицы были пусты. Слышались только изредка звонкие шаги торопившихся домой пешеходов, да по дворам лаяли неугомонные собаки.

Сидя рядом с девушкой, ротмистр, в шитых теплых перчатках на руках, ловко правил своим гнедым жеребцом, то и дело порывавшимся вперед.

– Что Москвой-то валандаться! Валяй куда подале – за рогатки! – предложила девушка, увлеченная и скорой ездой, и близостью молодого, красивого человека.

– Куда же? – спросил ротмистр.

– А куда сам знаешь, только подале... на большую дорогу... а то и в лес... Эх, хорошо бы теперь в лесу-то побывать, волков послушать!

– Можно и в лес!

Ротмистр повел вожжами. Жеребец точно ждал этого – дрогнул всей своей статной фигурой, вытянул морду вперед и засеменял ногами.

Они быстро домчались до каких-то рогаток. Тут было остановил их караул. Но ротмистр шепнул несколько слов дежурному сержанту, и тот, подобострастно отдав честь, самолично поднял рогатки. Гнедой помчался уже по широкой загородной проезжей дороге.

– Где мы?

– За Крестом! – отвечал ротмистр.

– А... я это место люблю... я тут вчера ездила, да недалеко... ты теперь подале... в лес...

Гнедой быстро домчал молодых людей до Алексеевского. Село стояло темно и тихо, но некоторые окна еще светились яркими лучинными огоньками. За Ростокином ротмистр повернул гнедого влево, и они очутились на узкой лесной дорожке. Гнедой пошел тише, громко похрапывая и поводя ушами.

– Волков слышит, – заметил ротмистр.

– Где же они? – спросила девушка. – Покажи мне их. Я еще ни разу не видала волка.

– Нет, они где-нибудь далеко... тут их нет...

– А придут они?

– Могут и прийти.

– А страшно?

– Кому как. Мне не страшно. У меня для них есть хороший гостинец.

– Ах, и я с тобой ничего не боюсь! Да я и так, одна, ничего не боюсь. Ты не знаешь, – вдруг начала девушка каким-то тихим, задушевым голосом, – что про меня в нашей округе нехорошо говорят?

– Что же говорят?

– А называют меня Чертовой Сержанткой.

– Какое название забавное! – засмеялся ротмистр, стараясь заглянуть в лицо девушки, которое, чудилось ему, в настоящую минуту было необыкновенно привлекательно.

И оно было действительно таково. Дашутка радостно пылала, и темные глаза ее горели под собольей шапочкой. Она все ближе и ближе прижималась к молодому человеку, и тому быстро и горячо передавался ее девственный порыв. Сердце его ныло сладостью, и он сознавал, что эта сладость не временная, не обманчивая и что сидящая рядом с ним красавица чувствует то же самое. «Она будет

моя, – решил он про себя, – женюсь!»

Как бы угадав его мысль, девушка спросила:

– А ты женат аль нет?

– Нет, я не женат.

Девушка помолчала, как бы собираясь с какими-то мыслями, и потом вдруг начала:

– Э, коли так, так я, может, тебе и под пару буду! Ты богат?

– Богат! – произнес молодой человек. – Но лучшего богатства, чем ты, я и не желал бы в мире!

– Не врешь?

Вместо ответа ротмистр бесцеремонно отыскал губы девушки и горячо впился в них поцелуем. Девушка ответила ему тем же, и когда слишком продолжительный поцелуй прервался, сказала:

– Вот люблю молодца за обычай: берет девицу сразу, в дальний ящик дела не откладывает!

Не успела девушка проговорить это, как вблизи, казалось в нескольких шагах, послышался протяжный волчий вой. Это было так неожиданно, что молодые люди невольно

вздروгнули, как-то плотнее прижались друг к другу, а гнедой вдруг рванул вперед.

Ротмистр сдержал его порыв. Гнедой сильно захрапел, наклонил голову и пошел судорожным шагом. Молодой человек начал что-то вытаскивать из-под шубы. Но волчий вой раздавался уже в стороне и медленно удалялся.

– Стало, волк-то ушел? – спросила девушка,

– Ушел... испугался...

– А я было хотела посмотреть на него.

– Зверь не особенно занимательный, – сказал ротмистр, внутренне радуясь, что серый неприятель отступил.

В его душе зашевелилось смутное чувство какого-то предрассудка. Волчий вой, раздавшийся в момент страстного поцелуя, вдруг показался ему каким-то не особенно хорошим предзнаменованием. Но это было мимолетное чувство. Чувство привязанности, чувство ощущения возле себя хорошенького существа, которое только что подарило его, может быть, первым своим поцелуем, взяло верх. Он даже забыл и о том, что отчасти ему сперва не нравилось в ней – он забыл ее довольно

грубую речь и грубое обращение. Как человеку, хорошо по тогдашнему времени воспитанному и вращавшемуся в высшем кругу московского общества, ему не могла это особенно нравиться.

Но чего не забывает молодость? Чего она не прощает за свою первую любовь, когда чувства кипят, кровь волнуется и все окружающее дышит радостью и приветом?

Он молча обнял девушку, застыл в этом положении и задумался, счастливый, о том, как все в мире совершается случайно и неожиданно. Думал ли он, гадал ли он, отправляясь на кулачный бой, которым он нередко, надев тулуп и рукавицы, позволял себе забавляться, что он там встретит бойца-девушку, которая, несмотря на свое темное происхождение, так быстро очарует его, московского богача, аристократа и красавца, и так быстро приблизит его к женитьбе. И все это свершилось в течение какого-нибудь дня! Он думал еще и о том, что скажут по поводу этого его аристократические родственники, и не произойдет ли из всего этого чего-нибудь такого, что испортит всю его жизнь.

Девушка между тем думала совсем иное.

«Эк, – думала она, – облапил, словно медведь лесной! А хорошо так-то сидеть с ним, с молодым».

И больше ничего.

А успокоившейся гнедой шел и шел все шагом. А месяц на небе светил ярко, очень ярко, и было кругом светло, и казалось иногда, что по деревьям и по кустам перебегают какие-то странные шорохи и тени...

Глава XVII

Грозная домоводка

Родственники Глеба Алексеевича Салтыкова действительно горячо восстали против его женитьбы на дочери какого-то сержанта. Они составили между собой совет, разузнали хорошенько, кто такая Дарья Николаевна Иванова, и пришли в неописуемый ужас от полученных сведений. Но Глеб Алексеевич был человек независимый, имел большое независимое состояние, и влиять на него было трудновато. Решено было повлиять на девушку. С этой целью один из родственников,

человек пожилой, решительный и холодный как лед, явился к Ивановой и заявил ей, что если она не откажется от Глеба Алексеевича, то ей на Москве несдобровать. Девушку это возмутило.

– Черти вы мазаные! – загорячилась она. – Да на кой мне черт ваш барин! Я и без него проживу как захочу! А коль он сам ко мне навязывается, так мне не стать же гнать его по шлям, как мошенника какого! Возьмите сами да и не пускайте его ко мне!

Пожилой и решительный человек, находившейся, однако, уж несколько лет под влиянием своей супруги, несколько мгновений смотрел на девушку испытующим, любопытным взглядом и почему-то сравнивал свою супругу с сидевшей перед ним девушкой.

А та не выдержала и вдруг брякнула:

– Что бельма-то выпучил? Аль, думаешь, неправду говорю?

Дальнейшие объяснения были бесполезны, и потому решительный человек поторопился уйти. Совету родственников он прямо и точно заявил, что Глебу быть женатым на такой чертовке и что, по его мнению, даже бес-

полезно отговаривать его от подобного супружества; пожалуй, может случиться с ним что-нибудь и похуже женитьбы.

Глеб Алексеевич между тем ежедневно посещал свою дорогую Доню, как он начал называть Дарью Николаевну, и с каждым днем привязывался к ней все более и более. Ему даже особенно начала нравиться эта бесшабашность в ней и это совсем не женское удалство. Его уже не смущали более те слова и выражения, которые нередко сыпались из ее хорошенького ротика. Он находил в этом своеобразную оригинальность, простоту, и ее звучные и резкие слова казались его слуху чем-то весьма очаровательным. Нравились ему и ее манеры, размашистые, мужские, с примесью грубости. В особенности же он находил прелесть в ее глазах. А между тем ни одной мысли не светилось в ее бархатистых, темных глазах, тонувших как будто в бесконечном созерцании. Они блестели спокойствием хорошего пищеварения, как у животного, отражением счастливого дня – и только. При всем этом идеал Глеба Алексеевича был страшно груб и от малейшего сопротивления

приходил в ярость.

Говорят, что крайности в жизни сходятся. В отношении Ивановой и Салтыкова это подтверждалось как нельзя более. Сам Салтыков, молодой человек, хорошо воспитанный, был притом же и человеком хорошей души, деликатным, уступчивым, всегда сдержанным.

Свидания их всякий раз имели довольно своеобразный характер. В то время как деликатный Глеб Алексеевич меланхолично предавался наслаждению быть наедине с милой девушкой, эта милая девушка часто являлась к нему из кухни с засученными рукавами, простоволосая, красная, и рассказывала о том, как она только что выругала Фиву, которая не умеет хорошенько поджарить баранины, и при этом тут же распространялась о качествах и ценах на этот мясной продукт. Затем она при женихе начинала одеваться и чесать свои волосы, нисколько не стесняясь его присутствием и перекидываясь с ним кое-какими фразами. Жених при этом имел удовольствие видеть вполне развившуюся и здоровую фигуру невесты, ее здоровый стан и здоровую шею. Он из деликатности отворачи-

вался, но невеста прикрикивала:

– Чего отвернулся? Аль на двор-то веселей глядеть, чем на меня? Чай, мы теперь не чужие!

Глеб Алексеевич слушался своей невесты и все время при ней находился в каком-то опьянении. Она поражала, она изумляла его, она приводила его в какой-то одуряющий восторг.

По вечерам при огне, когда они сидели вдвоем, она делалась нежнее, но и в этой нежности слышалась вместе со страстью какая-то дикая необузданность.

Обнимет она жениха, поцелует его крепко, чуть не укусит, и спрашивает:

– Ну что, ладно так-то, черт этакий?

– Ах! – вздохнет жених и примется шептать ей те речи, те горячие, бестолковые слова, которые так хорошо известны всем влюбленным, и при этом он более всего повторяет: – Ах, Доня! Ах, милая Доня! Как ты мне стала дорога! Как обожаю я тебя!

– Все-то ты врешь, Глебка! – вдруг обрежет его милая Доня и захохочет во все горло.

Глеб Алексеевич растеряется, молчит и думает: «Гибну, гибну...»

И точно, в свое время он погиб. Он сделался мужем женщины, которая с первых же дней замужества явилась перед ним в таком виде, что он пришел в ужас.

Поселились они в собственном доме Салтыкова, на Лубянке, в приходе церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Дом этот для своей молодой жены Салтыков отделал со всей роскошью тогдашней моды, но сразу оказалось, что та, для кого все это делалось, вовсе не поклонница прихотей. Она, захватив весь дом в свои руки, быстро уничтожила роскошь и обратила все свое внимание на кухню и на прачечную. По всему дому с утра до вечера начал раздаваться ее звонкий, резкий голос, и в то же время начали по всем углам дома раздаваться и звонкие пощечины, а на конюшне – крики и вопли. Весь дом, наполненный мужской и женской прислугой, вдруг притих, присмирел, и все вдруг зашептало и начало прятаться по темным уголкам, боясь встречи с той, которая так грозно начала царить в доме.

Робел перед нею даже сам муж. Богатейший, блестящий московский аристократ пре-

вратился в подобие какой-то угнетенной овцы. Все родство его покинуло, дома его никто не посещал, и он быстро осунулся и начал сидеть, сам не понимая, как все это могло совершиться, и совершиться так быстро, так печально. Перед женой он даже боялся пикнуть и не смел даже заступиться за своих любимых слуг, которых жена часто без всякой причины подвергала наказаниям.

На лето супруги перебрались в сельцо Троицкое, Подольского уезда. В сельце Дарья Николаевна завела те же порядки. Пошла та же строгость, тот же крик, тот же гам, те же пощечины и побои слуг чем попало. Глеб Алексеевич захирел еще более. Не унывала одна героиня всей этой кутерьмы. Она по-прежнему была здорова, весела, хорошо ела, хорошо пила, спала превосходно и весело беседовала со своей прежней любимицей Фивой, которая стала теперь у нее правой рукой и без участия которой не обходилась ни одна расправа. Слава о жестокостях новой помещицы быстро начала распространяться в окрестностях, и она в устах народа получила название не помещицы, не барыни, а просто Салтычи-

хи, и это название так упрочилось за ней, что иначе ее нигде и никак не называли как Салтычихой. Слухи о ее жестокостях дошли, конечно, и до подобающих властей. Сделано было негласное расследование, но результат благодаря ее богатству и предупредительности получился весьма благоприятный. Все дворовые в один голос отозвались, что никаких жестокостей от барыни они не видят, а ежели она иногда и наказывает их, то наказывает по-матерински и за что следует. Один из дворовых, по недомыслию заикнулся было о чем-то, но зато он долго потом помнил и кулаки и скалку Салтычихи.

Природа между тем делала свое дело: в свое время Салтычиха родила сына. Это несколько не обрадовало захиревшего отца, и он с грустью встретил появление на свет первенца. Не особенно была рада первенцу и сама мать, Салтычиха.

– Эх, поросенок-то какой вышел! – смеялась она с Фивой, когда показали ей ее детище.

Однако мать сама кормила «поросенка», а Фива от «поросенка» была просто без ума.

«Поросенка» назвали Федором.

Грустный, усталый, всеми позабытый, а родственниками просто презируемый, Глеб Алексеевич нашел себе, наконец, маленькое утешение. В числе его дворни была простая девушка, дочь кучера, по имени Хрися. Маленькая, румяная, тихая, она обратила на себя внимание Глеба Алексеевича, и он привязался к девушке, как привязался когда-то к жене своей, Дарье Николаевне.

Само собой разумеется, что это не укрылось от зоркого взгляда Салтычихи, но по какому-то странному капризу она не преследовала за это мужа и даже как будто поощряла его в его привязанности.

– Ты, Глебушка, не стесняйся, – говорила она ему наедине, – живи себе с Хриськой, потешайся, только смотри, чтоб она не стала у тебя за барыню! Тогда и ей и тебе плохо придется!

– Ах, Доня! Что ты, что ты! – как мог, оправдывался Глеб Алексеевич. – Ты видишь мое здоровье... мне вовсе не до шалостей...

– Да зато до девичьего личика румяного! Все, дружок мой, знаю, не оправдывайся.

Только еще тебе скажу: не забывай подчас и меня, старуху, все ж я жена тебе, не чужая.

Хрисья была до того без всяких претензий, что о желании ее стать барыней не могло быть и речи.

Все же Салтычиха нашла нужным предупредить и ее.

– Ты, с косами русыми, на шее с бусами! – позвала она к себе девушку. – Ты у меня шали, да не зашаливайся, а не то и с лозою спознаешься! Вон у меня ее сколько по речке растет: хватит на твою спину-то на девичью.

Девушка бухнулась Салтычихе в ноги:

– Барыня!.. Да за что!.. На все твоя барская воля... что повелишь, то и сделаю...

– То-то! – пригрозила милостиво Салтычиха.

Однако не прошло и трех месяцев, после того как Глеб Алексеевич обратил внимание на Хрисю, а уж Хрисья начала отчего-то быстро вянуть и наконец увяла совсем.

Глеба Алексеича это сразило, как ножом, – он сам слег в постель. А супруга втихомолку посмеивалась с Фивой:

– Вот так-то, Фивка, лучше будет!

– Вестимо, золотая моя! – поддакивала Фива. – Без шума, без гама завсегда лучше.

Четыре года над домом Салтыковых прошли, как проходили они ранее. Грозная правительница оставалась той же, какой была. Сам Глеб Алексеевич несколько поправился и даже сделался снова отцом. Салтычиха снова родила, и родила опять мальчика, которого назвали Николаем и который почему-то пришелся по душе и отцу и матери. Старший сын, уже подросший и бойко бегавший по саду, по-прежнему оставался любимцем Фивы, которая как-то не старела, но зато сильно сохла и превращалась в тип настоящей ведьмы. Да ведьмой ее и звали все дворовые.

Но дни Глеба Алексеевича были уже сочтены. Ровно через два года после появления на свет второго сына он тихо угас в своем доме на Лубянке и был похоронен в родовом склепе в Донском монастыре.

Молодая вдова не проронила ни одной слезинки над могилой своего мужа, над могилой того, чью жизнь она загубила безвременно и бесправно и кто оставил ей все-таки все свое громадное состояние.

Сделавшись богатой, независимой и при том молодой вдовой, Салтычиха еще более дала простору своей необузданной, дикой натуре и уж не знала удержу тем кровавым, бесчеловечным поступкам, которые с ужасающими подробностями занесли ее имя в уголовные хроники и которая своими злодействами над крепостными людьми ужаснула XVIII столетие. В конце концов слово «Салтычиха» сделалось словом почти бранным.

Часть вторая

Две силы

Глава I

Оскорбленный дворянин

Никогда еще дом Салтычихи в ее сельце, в Троицком, не был так шумен и беспокоен, как в тот осенний вечер, когда сама Салтычиха возвратилась из сторожки Никанора в сопровождении молодого инженера Тютчева. Прежде всего всю дорогу она на чем свет стоит со свойственной ей грубостью бранила молодого инженера, называя его самыми поносными именами. На оправдания же его она кричала одно:

– Не ври, не ври, падаль московская! Я все видела и все заметила, чертов огузок!

– Фи, Дорот, как ты выражаешься! – брезгливо, но уступчиво отвечал на это чертов огузок.

– Сто раз тебе твержу, что я тебе за Дорот такая далась! Дарьей зовут – зови Дарьей и ты! Эк словцо отыскал и тычется им, как му-

жик с колом за скотиной! Дорот, Дорот, Дорот... Да песья нога тебе в рот, коли я Дорот!

– Фи-фи-фи! – мог только ответить на это порицаемый инженер.

Не успокоилась обозленная Салтычиха и дома. Когда они вдвоем сели за ужин, то она заметила:

– Тебе бы и жрать не надо, Тютченька! Люди говорят: на голодное брюхо дурь в голову не лезет!

Как ни привык молодой инженер к выходкам Салтычихи, но теперешняя придирчивость ее начала злить и его.

– Государыня моя, – сказал он сухим тоном, – пора бы и уважить меня хоть сколько бы то ни было из уважения к тому, что я все-таки такой же дворянин, как и вы! Прошу!

– Чего ты просишь-то, оглашенная башка?

– Того прошу, чтобы вы меня уважили несколько, государыня моя!

– Ну что ж, и уважу! – отвечала, помолчав с минуту, Салтычиха. – А теперь вот – кушай-ка щи! Говорят, без щей – будешь кощей! Не люблю я, Тютченька, кощеев-то!

– И в сих словах, государыня моя, – поднял-

ся с места Тютчев, – я вижу тоже обиду своей особе!

– Эва особа какая нашлась! Много таких-то особ по Москве ходит, Христа ради просит. Таковский и ты, молодец.

Тютчев вспыхнул:

– Я служащий человек, я имею занятие и Христа ради по Москве не хожу!

– А не ходишь – пойдешь! – продолжала злорадствовать Салтычиха.

– Неправда-с! – вскрикнул Тютчев и нервно зашагал по комнате.

Потом он остановился перед Салтычихой, которая уже медленно и с аппетитом ела щи деревянной ложкой, остановился и с укором заговорил:

– Государыня! Для того ли я знакомился с вами, чтобы вы меня так позорить изволили? Скажите мне!

– И скажу! – отвечала Салтычиха, медленно пережевывая кусок черного хлеба.

– Что скажете?

– Скажу, что сама не знаю, не ведаю, для какого черта я встретила тебя, такого удалца-молодца!

– Немного-с сказали!

– Да немного и времени-то мы с тобой из одной миски щи хлебаем!

Действительно, Салтычиха познакомилась с Тютчевым весьма недавно, всего только месяцев пять назад.

Это было в мае. Охотница до прогулок на чистом воздухе, Салтычиха вздумала как-то прокатиться вместе с Фивой по опушке своего леса. В то самое время, как тележка Салтычихи медленно и бесшумно катилась по мягкой проселочной дорожке, в лесу, на недалеком от них расстоянии раздался выстрел из ружья.

– Это у меня откуда стрелки-то показались? – приостановив лошадь, крикнула Салтычиха.

– Может, Никанор, полесовщик? – скромно заметила Фива.

– Совсем не Никанорово ружье, я чую, – сказала Салтычиха. – Да тот и не посмел бы стрелять, зная, что я еду.

– Это точно-с, выстрел быдто господский, – согласилась Фива.

– Так подь-ка, узнай, кто таков стрелок-то

удалой?

Фива соскочила с тележки и быстро скрылась в лесу. Не более как минут через пять она вышла из лесу уже не одна. Впереди нее шел молодой человек в каком-то странном, из серого грубого сукна, охотничьем костюме, с длинноствольным ружьем через плечо.

– А! Так это ты стрелок-то? – встретила молодого человека Салтычиха.

Стрелок несколько сконфузился, но тотчас же оправился и учтиво подошел к сидевшей в тележке Салтычихе.

– Прошу прощения, – начал он, – что позволил себе охоту в ваших владениях.

– А ты кто? – уставилась на него Салтычиха.

– Тютчев Николай Афанасьевич.

– Сосед мне?

– Не имею чести.

– То-то не помню никакого Тютчева-то по соседству. Помещик?

– И того нет.

– Так кто ж ты?

– Инженер.

– Ну, стало быть, птица невелика.

– Но, позвольте, государыня моя, – надумал наконец Тютчев, – с кем же я имею честь говорить?

– Салтыкова, молодчик, Салтыкова Дарья Николаевна.

– Салтычиха! – невольно сорвалось с языка молодого человека, и он даже отступил на шаг назад.

Салтычиха вдруг разразилась хриплым смехом:

– Вона! И тебе я, молодцу, ведома!

Тютчев растерялся:

– Ведома... точно-с... точно-с... Но... простите, государыня мою нескромность, ошибку... Мне вовсе не было известно, что вы, государыня моя...

– Будет болтать-то! – перебила его Салтычиха. – Чай, не зверя перед собой видишь-то – человека. Я, молодец, баба простая, хорошая. А что про меня худо говорят, так черт с ними! На чужой роток не накинешь платок!

– Это точно-с... точно-с... – бормотал все еще не оправившийся от смущения Тютчев.

– Да чего тебя так проняло-то, молодчик? Поуспокойся.

– Я ничего-с... Но... позвольте мне, государыня моя, вам низко и почтенно откланяться.

– Не торопись. Пожалуй ко мне сперва на миску щей, а потом и уходи.

Тютчев согласился, хотя отчасти и нехотя. Ему были известны проделки Салтычихи. В дом ее вошел он даже с некоторыми трепетом. Но вскоре как-то освоился, приободрился и, подвыпив порядочно салтычихинских наливок, разболтался и имел счастье понравиться самой хозяйке. К вечеру они уже были своеобразными друзьями. С этого дня Тютчев почти каждый день приезжал из Подольска, где жил, в Троицкое и проводил приятно время в сообществе Салтычихи.

Так время шло до того октябрьского вечера, в который между ними началась ссора,

Ссора эта теперь не прекращалась и готова была превратиться в настоящую бурю. Так и случилось.

Выслушав обидные для себя слова, Тютчев в угрожающей позе остановился перед Салтычихой.

– Чего встал? Чего бельма выпучил? – в свою очередь угрожающе произнесла Салты-

чиха.

– Наконец... наконец... наконец... – вдруг заговорил Тютчев презрительным, взволнованным голосом... и остановился.

– Чего наконец? Чего? – впилась в него глазами Салтычиха и стала ждать, что он скажет.

Тютчев, сделав несколько шагов по комнате, стал смотреть в упор на Салтычиху.

– То, государыня моя, наконец, что так поступать непозволительно! – выпалил молодой инженер и отступил на шаг назад от Салтычихи.

– Ты это чего же взъелся, чертов огородник? – было вопросом разгорячившемуся молодому человеку.

– Того, государыня моя, что вы, наконец, и со мной хотите поступать, как со своими дворовыми! Но это несуразно и совсем не по-дворянски!

– Хо-хо, какой дворянин отыскался новый! – злорадно засмеялась прямо молодому человеку в глаза Салтычиха.

– Точно-с, дворянин-с!

– Оно и видно!

– Смею вас уверить!

– Не уверяй! Сама вижу, что дворянин! Тельце прикрыто, а рыло глядит в корыто!

– От вас, государыня моя, только такие несуразности и слышать можно!

– Ты больно разговорчив! Язык что веник: только и знает, что сор замечает.

– Да-с, это точно-с! – заходил Тютчев нервными шагами по комнате. – У вас сору-с много, очень много сору-с! Пора бы этот сор и со двора долой!

– Уж не пора ли тебя самого со двора? – уязвила молодого человека Салтычиха.

– Я и сам уйду! А я не сор-с, государыня моя! Вам доподлинно самой известно-с, и известно хорошо-с, что я вас не искал, не навязывался на вашу благосклонность – вы сами нашли меня, сами первая искать моего знакомства начали! Ведь так-с, государыня моя?

– Запоматовала что-то, молодец! А вот про то хорошо помню, как я тебя, оболтуса голого, одела до обула! Про то помню хорошо!

– А про то забыли, как я о вас хлопотал в Юстиц-коллегии, бегал, просил и добился оправдания в том, за что бы вас, государыня

моя, следовало... знаете куда?

Салтычиха вскочила.

– Молчи! – зашипела она как змея. – Молчи, щенок бесхвостый!... Не то...

Тютчев, взволнованный, раскрасневшийся, смело стоял перед лютой, взбеленившейся женщиной.

– Что – не то?

– Лозой попотчую!

– Дворянина-то?

– Дворянина!

– Не смеешь того сделать, мерзавка!

– Не смею?!

– Не смеешь!

Салтычиха захлопала в ладони и закричала что было сил:

– Акимка!.. Сидорка!.. Сюда!.. Скорее!..

Через минуту в дверях появились безмолвные лица наших старых знакомых: кучера Акима и дворового Сидорки, возлюбленного молодца Никаноровой Галины.

Глава II

Волчья погребница

Под таким своеобразным названием, волчья погребница, у Салтычихи в ее сельце Троицком, было известно всем и дворовым и всем крепостным длинное, низкое здание вроде склада, сложенное из громадных булыжных камней и крытое красной черепицей. Совсем отдельное, без всяких украшений, оно стояло далеко и от барского дома, и от других жилых и нежилых построек. С маленькой дубовой дверью и с какими-то отверстиями вроде отдушин, которые, однако, считались окнами, здание это производило необыкновенно тяжелое впечатление. Громадные булыжники, серые и темные, скрепленные беловатым цементом, казались иногда при закате солнца, когда красные лучи его ярко ударяли в стену, какими-то гигантскими головами, выглядывающими из огненного переплета. Во время дождей и хмурой погоды оно выглядело много серее и много печальнее всего окружающего и было так

уныло и неприветливо, что даже вороны и те почему-то не всегда и неохотно садились на его черепичную щетинистую крышу, почерневшую от времени и в некоторых местах заросшую темно-зеленым мхом. Открытое со всех сторон, оно заносилось зимой снегом, и только в крайнем случае к нему протаптывали тропинку. Летом, в хорошие, ясные дни, оно как будто несколько оживало, принимало более приятный вид, и под его стены, всегда холодные, охотно шли полежать томимые жаром свиньи, козы, коровы и собаки. В лунные ночи, когда луна, бледная, стояла высоко на небе или висела, красная, низко на горизонте, волчья погребница представляла из себя нечто чисто фантастическое: игра лунного света на стенах и на крыше погребницы делала из нее нечто сказочное, хотя, в сущности, это было наипрозаичнейшее строение. Но назначение его было довольно мрачное. Это был своего рода острог, созданный Салтычихой для своих сильно провинившихся дворовых и крепостных. Туда запирали несчастных на хлеб и воду и держали иногда по нескольку недель в сообществе с волком, который в

одном из углов был привязан на цепи. Вот почему и постройка получила название волчьей погребницы. Это была выдумка самой Салтычихи, и она очень много забавляла ее.

– Ты волк? – говорила она провинившемуся. – Ну так и посиди с волком: все веселей, чем одному-то.

Волк попал в погребницу совершенно случайно, и попал по милости полесовщика Никанора.

Как-то он высмотрел волчье логово. Волчицу он оставил в покое, а волчонка притащил к себе в сторожку, не имея духа покончить с хищным детенышем сразу. Несколько дней подряд осиротевшая волчица пробиралась к сторожке и унылым воем напоминала полесовщику о своем одиночестве.

– Кинул бы ты его, батька, за дверь! – предлагала Галина. – А то что за охота слушать этот самый вой-то?

Никанор уверял дочь, что это сделать невозможно, так как барыня приказала ему строго-настрого, ежели попадетсЯ какой-либо зверь, то живого или мертвого, но непременно приносить или приводить к ней.

– Так и отведи! – посоветовала дочь. – А то ведь у нас-то и есть ему нечего: где мы для него наберемся мяса-то? А молоком одним они сыт не будет.

Никанор привел волчонка к барыне. Маленький свирепый хищник понравился Салтычихе, и она стала держать его в комнатах, кормила из своих рук. Но волчьи склонности, когда он подрос, проявились в нем во всей своей силе: он начал драть кур, поросят, трепать дворовых собак. Сперва было Салтычиха приказала застрелить его, но потом передумала и велела привязать его на цепь в погребице.

В тот же день один из дворовых парней, уличенный в воровстве, был брошен в погребицу. Парень был трус страшный, и волк пугал его более, чем само заключение в погребице. Голодный, не привыкший к цепи, волчонок рвался на цепи, лаял, выл, щелкал от злости зубами и грыз цепь. Все это так напугало парня, что он и сам взвыл волком. Салтычиху это забавляло, и она долго томила парня в погребице. Бедняк настолько был труслив, что, выйдя из погребицы, стал худ

как щепка и даже поседел. Салтычиха думала, что присутствие волка в погребнице будет и на других заключенных иметь то же влияние, какое оно имело на воришку парня. Но этого не случилось. Другие вовсе не боялись волка и даже находили своего рода удовольствие в его присутствии – все-таки живое существо. Некоторые даже умели как-то заигрывать с серым приятелем. Волка наконец с цепи спустили, но он так освоился со своей сытой неволей, что уж и не покушался бежать, а очень спокойно лежал в своем уголке или меланхолично бродил взад и вперед у стены.

С годами волк состарился, но все еще жил, не покидая своего угла. Дворня с ним так освоилась, что считала его за обыкновенную собаку.

В эту-то погребницу, в соседство к волку, неожиданно попал и Николай Афанасьевич Тютчев благодаря злой взбалмошности Салтычихи.

Как только лица Акимки и Сидорки появились у дверей, Салтычиха крикнула им:

– Засадите-ка этого молодца в погребницу!

Акимка и Сидорка с недоумением смотрели то на барыню, то на Тютчева и не решались приступить к выполнению ее приказа.

– Что ж стоите-то, оболтусы?! Живо!

Оба молодца ловко подхватили молодого инженера, и через пять минут он был уже в погребнице, в совершенной темноте, охваченный с ног до головы сыростью. Все происшедшее с ним так поразило его, что он не кричал и почти не понимал, как все это произошло и почему именно. Придя несколько в себя, он понял всю безысходность своего положения и стал обдумывать план спасения, давая десятки клятв довести все это до сведения высшего начальства. Как, его, дворянина, служащего инженера – и засадить в какой-то холодный сарай! О нет, он никогда не простит этого злой женщине! Он поедет в Петербург, он подаст прошение самой императрице, и взбалмошная, своевольная помещица будет наказана примерно!

– Да-да, все сие будет! – вел он речь сам с собою. – Всего сего я добьюсь непременно, непременно все сие устрою! Как, меня, дворя-

нина! – восклицал он далее и тысячу раз сожалел о том, что связался с подобной женщиной. – И как я мог! И как я поверил! О нет, погоди же, змея, погоди! Придет беда и на твою голову! Все открою, все докажу, все твои ужасные дела на чистую воду выведу! Осудят! В Сибирь сошлют! В кандалы закуют!.. Казнят смертью лютой!..

Между тем та, на голову которой сыпалось столько ужасных проклятий, спокойно сидела в своей комнате и вела беседу с Фивой, сидевшей на полу у ее ног.

– Пусть маленечко поохолодает там-то, в погребице-то, – говорила она. – Авось не так сердчишко-то его дурацкое стукотню поднимать будет, авось поуйметя маленечко.

– Ах, поуйметя, золотая моя, поуйметя! – вторила, скромно опустив глаза, Фива.

– А потаскушку ту тоже надо бы проучить как следует.

– Галинку-то?

– Кого ж больше! Ее, лесную пташечку!

– Ах, следует, золотая моя барыня, следует!

– Ты придумай-ка, Фивка, что-либо такое, чтоб этой девушке-чернавушке, этой шитой

рожице-то довелось расхлебать то, чего ей и во сне не снилось никогда, дуре!

– Подумаю, золотая моя, подумаю! – отвечала Фива. – Уж такая-то девчонка непокорливая – беда с ней просто! Как-то мне пришлось побывать по весне-то в сторожке-то Никаноровой. Сидит, словно барыня какая, и глаза этак чертом скосила. Так и скосила глаза чертом – ей-ей, не лгу!

– А ты бы ей палкой в эти в глаза-то чертovy! – сказала Салтычиха и зевнула во весь рот.

– Постелюшка готова! – заявила торопливо Фива.

– А готова – уложи! – еще раз зевнула барыня.

Вскоре Салтычиха была уже в постели. Фива сидела у ее ног, осторожно чесала ей пятки и рассказывала какую-то длинную, монотонную сказку, под которую наконец барыня мирно и заснула. Верная раба улеглась на полу и тоже вскоре чутко задремала.

Узнав, что барыня почивает, разбрелась по своим углам и вся дворня и тоже позаснула.

Не спал один бедный заключенный, Тют-

чев. Как он ни храбрился, как ни стращал кандалами Салтычиху, но холод и сырость погребницы давали себя знать: он умолк и стал искать место, где бы поудобнее и потеплее прилечь. В одном углу он нащупал солому и какой-то тулуп. Этой находке он обрадовался необыкновенно: тотчас же забрался под тулуп, повалился на солому и мертвецки уснул, позабыв и свое заключение, и Салтычиху, и все те проклятия, которые он посылал на ее голову.

Разбудил его в самую полночь какой-то странный вой. Высунув голову из-под тулупа, он чутко стал прислушиваться и разобрал, что вой раздается у самых его ног. Объятый паническим ужасом, он мгновенно вскочил на ноги и тут же увидел два сверкнувших перед ним огонька. Он, ничего не соображая, моментально шарахнулся в противоположную сторону и прижался спиной к холодной стене погребницы.

– Что это? Что это? – залепетал он, устремив глаза на огоньки.

Вой со стороны огоньков послышался явственнее, и тут только Тютчев сообразил, что

он находится в обществе серого хищника.

Что было делать? Как поступить? Молодому человеку вовсе не было известно, что волк безвреден и что он сам испугался присутствия человека и потому завыл.

Совершенно машинально, двигаясь вдоль стены, Тютчев начал искать что-либо, чем можно было бы защититься от столь неприятного сотоварища. Под руки ничего не попалось. Между тем он дошел до угла и тут остановился, решив, что поиски его бесполезны. Огоньки засверкали в противоположном углу: видимо, волк уселся на задние лапы и тоже выжидал, как поступит с ним тот, кого он видит перед собой. Так прошло с полчаса, но эти полчаса показались Тютчеву вечностью. Чего-чего только он не передумал в эти полчаса!

Родился он, Тютчев, недалеко от Троицы-Сергия, близ села Радонежа, в маленькой деревеньке отца, весьма бедного, не служащего дворянина, жившего у своего тестя. Первые нежные годы детства он провел в деревеньке, нисколько и ничем не отличаясь от крестьянских детей, с которыми он и играл в одной ру-

башонке. До десяти лет его ничему не учили, и он готов уже был остаться «недорослем». Но судьба, однако, распорядилась иначе. Как-то заехал в деревеньку дальний родственник его отца, восхитился способностями маленького Кольки, увез его в Петербург, сдал в одно из инженерных училищ... и совершенно о нем забыл. Да забыли о нем и сами родители. Когда Тютчев двадцатилетним молодым человеком вышел из школы и попытался узнать что-нибудь о своих родителях, то он узнал только, что они умерли. Сиротливо потянулись дни молодого человека – сперва в Петербурге, потом в Москве. Молодой человек считался на службе при московском главнокомандующем, как называли тогда теперешних генерал-губернаторов, получал скромное жалование и жил тоже весьма скромно. В конце царствования императрицы Елизаветы Петровны задуманы были какие-то постройки близ города Подольска, и вот молодого инженера отправили на житье в этот город, где он и жил не у дел, ожидая приказаний из столицы. Приказания что-то не шли, дни тянулись скучно, и молодой человек ради развлечения

занялся охотой по соседним полям и лесам. Дичи он убил мало, но зато наскочил на такого зверя, как Салтычиха. Грозная барыня произвела на него своеобразное впечатление и так же своеобразно понравилась. Он сошелся с ней близко – и вот эта близость довела его до того, что он теперь мерзнет и дрожит в какой-то погребнице в сообществе зачем-то туда же попавшего волка...

Гнев и стыд душили Тютчева и волновали его страшно. Он был молод, здоров, и хотя ничто еще не улыбалось ему в жизни, но умереть под зубами хищника ему все-таки не хотелось, да и смерть такая позорная.

«Неужто, – думал он, – она решила сыграть со мной такую подлую штуку! О, это зверь, а не женщина! Зверь! Зверь!.. И отчего я сам не убил сию кровожадную тигрицу!..»

Вдруг он вздрогнул всем телом и брезгливо схватился за шею: что-то холодное и скользкое ползло по шее. Он поймал какого-то мокрого червяка и бросил его на пол. В то же время он услышал за стеной, снаружи, какой-то шорох: казалось, что кто-то пробирался по стене, шлепая по ней руками.

Тютчев насторожил уши и услышал явно, что шорох идет к двери. Он хорошо помнил, где находилась дверь. Он начал пробираться к ней, не спуская, однако, глаз с огоньков, которые по-прежнему неподвижно светились в том же углу, в котором светились и ранее.

Добравшись до двери, Тютчев прильнул к ней ухом и вдруг отчетливо услышал вопрос, произнесенный незнакомым ему мужским, голосом:

– Барин, ты жив?

– Жив, жив! – почти вскрикнул Тютчев.

Огоньки в углу моментально исчезли. Испуганный голосом Тютчева, волк заметался в своем углу, громко всхрапывая.

Замок за дверью лязгнул; чья-то осторожная рука возилась с замком, отпирая его. Наконец, тихо заскрипев на ржавых петлях, отперлась и сама дверь. Струя хотя холодного, но свежего воздуха шибанула прямо в лицо заключенному – и тот зашатался на ногах. Он чуть не упал. Но чья-то дружеская рука поддержала его...

Глава III

Освобожденный узник

Рука, так вовремя и кстати поддержавшая Тютчева, была рукой дворового Сидорки, который несколько часов назад вместе с кучером Акимкой бросил того же Тютчева в волчью погребницу.

– Кто тут?.. Кто пришел?.. – был первый вопрос очнувшегося и прислонившегося к стене Тютчева.

– Погодь, барин, помолчи... – отвечал шепотом Сидорка.

– Но кто ты? – настаивал Тютчев, уже предполагая почему-то, что к нему явился кто-то с недоброй целью.

– А вот сейчас узнаешь, барин.

Сидорка осторожно притворил дверь и уж тогда только решился вытащить из-под полы полушубка маленький фонарик.

Тускло и угрюмо сверкнул маленький огонек фонарика в волчьей погребнице – и показал всю суровую неприглядность салтычихинского острога. Стены были черны и мок-

ры. Потолок низок, с какими-то ржавыми железными перекладинами. Но все было прочно, здорово, и бедному узнику не представлялось никакой возможности выбраться из этой своеобразной ямы.

Тютчев невольно повел глазами вокруг и вздрогнул.

– Что, барин, хороша наша погребница-то? – как бы угадав его мысль, спросил Сидорка.

– Да... да... – произнес Тютчев и теперь уже взглянул на Сидорку. – А, ты! – воскликнул он, узнав сразу же в лице Сидорки одного из своих вечерних палачей.

– Я, барин, я... Только ты не бойся, барин... – начал шепотом Сидорка. – Я не за тем, чтоб обижать тебя, барин... я совсем за другим...

– За чем? – вырвалось у Тютчева.

– Я хочу тебя, барин, выпустить.

– А... стало быть, Салтычиха приказала?

– Совсем нет... и не думала... Она не таковская, чтоб продержатъ кого надо в погребнице часок-другой... Ты бы тут долго просидел...

– Все ты врешь, братец! – уже с некоторой смелостью сказал Тютчев.

– Совсем не вру. А коли хочешь, барин, оставаться, так и оставайся – я опять дверь запру.

– Зачем? Зачем? Не надо! – заговорил торопливо Тютчев, вдруг поняв всю неуместность своего сомнения. – Выпусти, братец, выпусти. Я за сие заплачу, в долгу у тебя, братец, не останусь.

– Не надобно мне платы, барин, на кой мне ляд твоя плата! А ты сделай для меня, барин, другое.

– Что? Что? Говори, братец!

– Не хочу я жить у Салтычихи, барин.

– Ну и что же?

– Прими ты меня к себе, коли я убегу от Салтычихи.

– Как так?

– Да так уж – прими! Вроде как бы крепостного, а то и так... в услугу.

– Но ведь сие невозможно, брат! – воскликнул Тютчев.

– Да ведь берут же другие господа всяческих беглых! – уверял Сидорка.

– Но у них деревни, свои крепостные... а у меня, братец, ни кола ни двора. Я только

службой и живу.

– Да уж как ни на есть, обдумай, барин! – попросил Сидорка и поклонился низко Тютчеву.

– Что же, я, пожалуй... я не прочь... – тронулся просьбой молодой инженер.

– Только я не один... – произнес робко Сидорка, а потом улыбнулся во все свое лицо.

– С кем же еще?

– С девчонкой...

– С какой?

– Да ты видел ее, барин... Галиной зовут... дочь лесника... Бедовая такая девчонка, работающая.

– А-а!.. – протянул Тютчев и, помолчав, спросил: – Ты что же с ней... невеста она тебе или так?..

– Так покуда, барин... – начал объяснять Сидорка. – Только мне без нее все равно не житье на белом свете... А Салтычиха, знаю, ни за что ее за меня не отдаст... Так уж лучше бежать... А потом и повенчаемся, коли милость твоя барская на то будет...

– Да... да... сие все возможно... возможно, братец мой... – заговорил с какой-то торопли-

востью Тютчев. – Ты можешь ко мне прийти... и с ней... Возможно!..

– Барин, спасибо тебе за такую милость! – поклонился еще раз Тютчеву в ноги Сидорка.

– Хорошо... хорошо... А только... фу, как здесь холодно!.. А я все еще в одной венгерке... – вздрогнул вдруг от холода всем телом Тютчев.

– А я, барин, вот полушубочек припас! Не побрезгуй, накинь на свои плечики...

– А, сие хорошо, хорошо! Дай-ка, брат, дай... Сидорка быстро снял с себя полушубок и накинул на плечи Тютчева, оставшись сам в сером суконном кафтане.

– Ну, барин, теперь тебе надо наутек... бежать надо, – посоветовал Сидорка. – Не проснулась бы Салтычиха да не спросила бы тебя – беда тогда! Такая пойдет перепалка – на все Троицкое!

– Бежать! Непременно бежать! – согласился Тютчев, кутаясь в Сидоркин полушубок.

– К утру-то в Подольск и доберешься. А теперь я тебя задворками провожу, чтоб не заблудился да чтоб собаки не подняли лаю.

– Спасибо, спасибо, молодец! – поблагода-

рил Тютчев. – Услуги твои не забуду.

– Уж не забудь, барин. Одного того и прошу, чего просил. А уж мы тебе служить с Галинкой будем как следует – по-христиански служить будем, не то что этому аспиду, Салтычихе.

– Подлинно что аспид! – добавил и Тютчев.

Вдруг волк зашевелился в своем углу и начал тихонько подвывать.

– Тише ты, черт серый! – прикрикнул на него Сидорка.

Волк смолк.

– А поди, барин, напугал тебя наш Серко? – полюбопытствовал Сидорка.

– Глупое животное!

– Ничего, он тихонький. Иная собака злей. Да и прирученный совсем. Эй ты, Серко, подь сюда! – позвал Сидорка волка.

Волк прилег на брюхо и, словно провинившаяся собака, начал подползать к Сидорке. Сидорка на полдороге сам подошел к подползающему хищнику, потрепал его по спине и отошел.

– Настоящая собака! – заметил он и добавил: – Вот и лесной зверь и дикой, а все по-

лучше нашей барыни. Вот наша барыня – волчиха настоящая. А это что за волк!

Через минуту Сидорка и Тютчев пробирались уже задворками барских хором к лесу. Сидорка хорошо знал дорогу, и потому они пробирались смело и торопливо. Вскоре они были уже в лесу, на самой той дороге, которая вела к сторожке Никанора.

– Ну, барин, теперь я тебя покину, – сказал Сидорка, остановившись. – Сам уж теперь пробирайся на Подольск. А коль боязно пробираться в такую-то пору, иди напрямки к Никанору. Он до утра, до рассвета, приютит тебя у себя в сторожке. Так и скажи Галине: от Сидорки, мол, так и так, мол... Сам уж знаешь, что сказать... Она девка добрая...

В сотый раз Тютчев поблагодарил своего избавителя и, расставшись с ним и бредя по дороге, долго думал о том, как трудолюбив, как послушен и, наконец, как добр простой русский человек. «Возможно ли, – думал он, – чтобы в простом мужике было столько доблести! А между тем это так, это неоспоримо – дело налицо!»

Продолжая думать на эту тему в глухую

осеннюю ночь среди леса, безмолвного, как гроб, Тютчев добрал до сторожки Никанора.

«Я переночую здесь», – решил он и постучал в окошечко.

Дверь ему отпер с лучиной в руках сам Никанор. Старик был удивлен необыкновенно:

– Барин! Да как же вы ко мне-то?

Тютчев коротко рассказал, в чем дело, и попросил приюта до рассвета.

Никанор заторопился, разбудил дочь, и вскоре недавний узник, прикрытый чем попало, заснул на теплой печке сторожки с таким наслаждением, с каким он не спал нигде и никогда.

Плохо зато в ту ночь спалось Салтычихе. Поступок ее с возлюбленным все-таки немало тревожил ее. При всей своей грубости и жестокости она все-таки чувствовала, что поступила с человеком несправедливо и что эта несправедливость может иметь дурные последствия – не относительно того, что Тютчев может жаловаться, она этого не боялась, а просто относительно ее самой, ее личных отношений с Тютчевым. Сны ее были тревожны и тяжелы. Снились ей какие-то люди с окро-

вавленными шеями, с разбитыми головами, которые подходили к ней – то всей толпой, то поочередно, – и хмуро заглядывали ей в глаза. От этих взглядов ей становилось и холодно и жутко. То слышала она какое-то похоронное пение, какой-то похоронный звон. То бродила она по какому-то неведомому кладбищу, где из всякой могилы слышались глухие голоса и такие же глухие стоны, причем с какими-то страшными проклятиями упоминалось ими и ее имя. То видела она вьющихся над ее головой, с кусками мяса в клювах, зловещих воронов, которые каркали и будто выговаривали своим карканьем: «Ешь, ешь, ешь!» Являлся ей во сне и смутный облик Хриси, той самой тихой и кроткой девушки, которую любил ее покойный муж и которая так рано умерла. Девушка тихо склонилась к ней и тихо шептала: «Ты, ты погубила меня, злая женщина! За что ты меня погубила? За что ты отравила меня? Зла я тебе никакого не сделала: я была бедная девушка. Я всех слушалась, я всех любила... Ах, тяжело в могиле, барыня! – вздыхала покойная над самым ее ухом. – Ах, тяжело! Погоди, сама узнаешь – сама в могиле бу-

дешь!..» Девушка растаяла, но как будто оставила после себя холодный, тяжелый могильный запах, такой тяжелый, что Салтычиха почти задохнулась. Она хотела крикнуть, но не могла. Вдруг вокруг нее начала вырастать громадная толпа народа – все больше, больше, и наконец она очутилась среди такого множества людей, что ей стало страшно, хотя она и стояла выше всех головой на каком-то каменном помосте, но со связанными руками и у столба. Народ молчит, и крутом тихо как в могиле. Говорит один только человек, но что говорит, она не понимает. И сердце ее сжимается болью, и грудь ее ноет, и голова ее кружится. «Начинай!» – вдруг слышится чей-то глухой голос, и вслед за этим голосом перед глазами ее появляется высокий бородатый краснолицый и в красной рубашке человек с большим топором в руках. «Руби!» – слышится тот же глухой голос – и над головой ее сверкнул тот топор, который она видела в руках краснолицего и в красной рубашке человека...

– Ох-ох-ох! – вскрикнула страшно-неестественным голосом Салтычиха, хватая себя

обеими руками за голову.

И проснулась...

Глава IV

Несвоевременный поцелуй

Проснувшись Салтычиха, в испуге от страшных сновидений, первым делом закричала:

– Фивка!

Но верной Фивы в спальне уже не было, она хлопотала по хозяйству, вовсе не подозревая, как мучилась во сне ее барыня и повелительница.

Это еще более обозлило Салтычиху.

– Где Фивка?... Фивка! – позвала она озлобленно.

Фива немедленно появилась.

– Где пропадала?

– Ах! Ах! – заахала Фива. – Я чаяла, что ты почиваешь, золотая моя, потому и ушла.

– Ну, что тот-то? Не кричит там? – спросила Салтычиха, тотчас же успокоившись.

– Молчит. Я уж бегала к погребице-то. Прислушалась – ни гу-гу. Знать, заснул, сердеш-

ный.

– Сердешный? Вишь, жалость на тебя какая напала! – заметила Салтычиха, но без злорадства и даже со своего рода удовольствием, так как соболезнование Фивы об участии Тютчева, о котором шла речь, ей понравилось.

Прозорливая в таких делах Фива сразу поняла это и немедленно повела своеобразную речь.

– Как же не сердешный! – с грустью в голосе заговорила она. – Совсем-таки сердешный! Такой холодище на дворе, осень осенью, слякоть слякотью, а он в такой, дорогая моя, зябкой погребнице! Она для мужиков, и то для воров-мошенников, а не для таких молодых и, можно сказать, ученых и благородных господ.

– Вишь, какая ты у меня, Фивка, на язычок-то красным красна! Что твой масон какой! И где успела выучиться!

– Все по твоей милости, государыня-матушка!

– Эк нашла ученую!

– Ах, барыня, барыня! Кормилица ты наша! – воскликнула Фива, слегка наклонившись к лежащей Салтычихе и отыскивая ее

руку, чтобы поцеловать. – Да где ж нам и жить-то, как не у таких добрых господ, где ж нам и учиться-то!

– Учись у добрых, а я злая!

– Ты-то, родимушка? Ты-то? – всплеснула руками Фива.

– Вестимо, я!

– Ах, вот уж неправда! Вот уж неправда!

– Ну а коли я добрая, так чего бы ты, Фивка, от меня хотела? – спросила Салтычиха, неожиданно чувствуя в себе наплыв искренней доброты.

– Ничего, матушка-барыня! Совсем-таки ничего!

– Не ври, Фивка! Ты скаред!

– Ах! – могла только воскликнуть Фива и невинно опустила голову.

– Денег, что ль? – добивалась Салтычиха.

– На что они мне, старухе.

– Ну, землицы, что ль?

– Ах, много ль нам земли-то надобно!

Салтычиха рассмеялась:

– И впрямь ты какая-то масонка!

– Раба! Раба твоя на всю жизнь!

– А говорю проси – так и проси! – сказала

уже с некоторой строгостью Салтычиха.

– Что ж, коли велишь, так попрошу.

– Ну?

– Выпусти нашего барина-то, Николая Афанасьича-то, из погребицы. Вот, матушка-барыня, вся моя просьба к тебе. Чего он там, наш сердешный-то, валяется!

Салтычиха с минуту помолчала, пытливо глядя на свою верную рабу, потом немного приподнялась и приказала:

– Наклонись!

Фива наклонилась к барыне.

– Целуй меня в щеку-то, – сказала Салтычиха.

– Не стою, не стою! – с каким-то неестественным подобострастием произнесла Фива.

– Целуй! – был новый приказ Салтычихи.

Фива ахнула тихо и с покорностью слегка прикоснулась своими, холодными тонкими губами к пухлой щеке Салтычихи.

После этого Салтычиха заметила:

– Ну и bestия же ты, Фивка! Таким подлым и в Сибири места мало!

– Барыня! Матушка наша! – вскрикнула Фива, поймала руку Салтычихи и начала с

жаром целовать ее.

– Ну будет, будет тебе! – остановила ее порыв Салтычиха. – Ты поди-ка лучше да и впрямь выпусти из погребицы-то нашего пленника. Авось он меня послаще твоего-то поцелует!

Фива выскочила из салтычихинской спальни перепелочкой и в минуту очутилась с ключом у погребицы. Ей было весьма приятно, что она будет первой вестницей освобождения. Вмиг замок был отперт, и дверь распахнута.

– Барин, пожалуйста-с в хоромы! – позвала она с подобающим подобострастием Тютчева.

Ответа не было. Волк зашевелился и захрипел.

– Барин! Барин!

Волк завыл.

– Тише ты, черт! – крикнула Фива на волка и снова позвала: – Барин, да где же вы?

Ответа опять не было.

«Уж не убежал ли?» – мелькнуло в голове верной салтычихинской рабы.

Само собой разумеется, что догадка ее оправдалась.

Фива испуганно взвизгнула и чуть было не упала.

– Что скажу... Что скажу барыне-то? – бессмысленно шептала она.

Затем она побежала в людские и подняла на ноги всех дворовых. Поднялся крик и гам невообразимый. Все бегали, все искали чего-то, спрашивали, бранились, толкались. Фива кричала более всех, но крик делу нисколько не помогал. Пленник словно сквозь землю провалился. Кто-то надоумил, что виной всему собаки: отчего, мол, не лаяли, когда человек убегал? Начали лупить палками собак. Собаки визжали, лаяли, и наконец одна из них, не стерпев, вероятно, напраслины, а то, может быть, и из ненависти, кинулась на Фиву и довольно здорово укусила ее за икру. Гам и визг увеличились вследствие этого еще более.

Шум наконец дошел до слуха Салтычихи. Она сама наскоро оделась, вышла на крыльцо и, понятно, тотчас же узнала, в чем дело.

– Быть того не может! – вскричала она бешено и самолично отправилась в погребицу.

Единственный теперь обитатель погреби-

цы, волк, испуганный необыкновенным собачьим лаем, встретил и ее, как и Фиву, воем.

– Нет! Нет! Вижу, что нет! – только и могла прохрипеть Салтычиха, тщательно оглядев все углы погребницы.

Была немедленно созвана вся дворня. Начались расспросы и допросы. Никто, оказывается, ничего не знал и не ведал. Оглядели замок – замок был цел. Оглядели дверь, стены – все было в целости.

«Кто-нибудь да выпустил! – догадалась Салтычиха. – Но кто? Кто посмел это сделать?»

Началась расправа с дворней в том вкусе, какой практиковался в Троицком.

А виновник всей этой кутерьмы спал между тем в сторожке Никанора безмятежнейшим сном. Сны его были легки и прекрасны. Все время ему грезилась лесникова дочка, Галина, которая все куда-то манила его, улыбалась, а потом, аукая, пряталась в зелень дремучего леса.

Только голос самой Галины и разбудил его: – Вставай, барин, пора! – И тронула его слегка за плечо.

Тютчев открыл глаза, несколько мгновений смотрел на прекрасное виденье и, предполагая, что это все еще продолжение сонной грезы, сильными, молодыми руками привлек к себе девушку и запечатлел на ее щеке такой же сильный и молодой поцелуй.

В то же мгновение он почувствовал, что такая же сильная и молодая рука схватила его за ворот венгерки и со всего размаха бросила на глиняный, хорошо утоптаный пол сторожки полесовщика...

Глава V

Лучина выдала

Тютчев вовсе не ожидал того, что с ним случилось. Самый простой поцелуй, данный самой простой девушке, – и вдруг такое неприятное последствие! Молодому человеку было и больно и стыдно. Неловко приподнявшись с полу, он только и мог кисло улыбнуться, косо посматривая на стоявшую перед ним в некотором изумлении Галину.

– Ах, право, что ж сие все означает!.. – как бы извинялся Тютчев перед девушкой. – Я

спросонья никак все сие... во сне я видел такое... такое все несообразное...

– Спросонья всяко бывает... – отозвалась сплутоватой, добродушной улыбкой Галина. – Уж ты, барин, и меня не обессудь, что я толкнула тебя маленечко – ненароком рука размахнулась дурацкая, девичья... привыкла с парнями я этак-то... Ведь те охальники...

– Пустяки... пустяки... – бормотал, оправляясь, Тютчев.

Он уже чувствовал некоторую робость перед этой лесной недотрогой, полной и своеобразных сил и своеобразной чести; эта простая девушка показалась ему теперь опаснее даже самой Салтычихи.

«Ну, по всей вероятности, – мелькало в его голове, – и из сей леснушки выйдет своего рода Салтычиха: такая же злая и так же на все способна. Хотя, впрочем... она девочка премиленькая и, право, мне весьма по нраву. Вот бы приобрести такую у Салтычихи...»

Тут молодой человек вспомнил о предложении Сидорки перебежать к нему, и это предложение показалось ему теперь весьма подходящим. Мысли его закружились на эту

тему.

Вошел Никанор.

– Проснулись, барин?

– Как видишь, добрый человек. Собираюсь теперь в Подольск.

– И пора бы. Не ровен час, Салтычиха, ищущи вас, может нагрянуть и сюда. Она глаза-стая – всюду заглянет.

Догадка Никанора имела свое основание.

Салтычиха действительно собиралась самолично в Подольск для отыскания бежавшего, а так как путь в Подольск лежал через лес, то она решила побывать и в сторожке Никанора, чтобы увидеть Галину и переговорить с нею по-своему.

В то самое время, как Тютчев пробирался пешком к ближайшей деревеньке с намерением нанять там какого-нибудь мужичка довести до Подольска, тележка Салтычихи уже мчалась лесной дорожкой к сторожке Никанора.

На этот раз вместе с кучером Акимом сопровождал ее и Сидорка, в котором грозная барыня вовсе и не подозревала виновника всего случившегося.

Сидорка выглядел такой невинной овечкой, так был предан барыне и такое принимал рьяное участие в отыскании бежавшего, что не подозревали в нем виновника ни дворовые, ни даже сам подозрительный кучер Акимка, почему-то настойчиво следивший за всеми действиями Сидорки и теперь неохотно разделявшей с ним соседство на передке тележки.

– Ну, здравствуй опять, ягодка лесная, малинка! – засмеялась Салтычиха вышедшей ей навстречу с поклоном Галине. – Где отец – в сторожке?

– В лес ушел.

– Ну, побеседую с тобой одной. Веди в сторожку-то.

Салтычиха вылезла из тележки и в сопровождении Акима и Сидорки вошла в сторожку Никанора.

В сторожке было тускло, как в погребе.

– Зажги лучину-то! – приказала Салтычиха.

Галина торопливо исполнила приказание.

Когда неровный, красный свет лучины осветил почерневшие стены сторожки, Сал-

тычиха зорко огляделась по сторонам и вдруг спросила:

– Где же он, кавалер-то твой новый?

– Какой, барыня? – глухо произнесла Галина, побледнела во все лицо и дрогнула всем телом.

Лицо Салтычихи мгновенно исказилось злорадной радостью. Она сразу узнала то, что ей было нужно: у нее не было уже сомнений, что Тютчев был в сторожке или скрывается в ней и по настоящее время. Благодаря своей природной сметливости Салтычиха всегда умела очень ловко и очень тонко поймать провинившегося, хотя явных улик налицо часто и не было. В данном случае она задала вопрос просто наугад, просто потому, что знала хорошо: ежели девушка виновна, то непременно чем-нибудь себя да выдаст. Побледневшее лицо у Галины было явным признаком того, что Салтычиха права.

Понятно, что этого было достаточно для Салтычихи, чтобы начать допрос по-своему.

Она и начала его.

– Как – какой? Разве ты не знаешь, ягодка моя, о ком я речь-то веду? – заговорила Салты-

чиха с таким озлоблением, что лицо ее пожелтело, кулаки судорожно сжались, а рот гневно искажился.

При виде подобного гнева глаза у Галины пламенно засверкали, но тотчас же и потухли при мысли, что Салтычиха права и что она перед барыней заведомо лжет. Но так как ложь была уже произнесена, то она и решилась во что бы то ни стало скрывать, что в сторожке ночевал Тютчев, тем более что в дело был замешан Сидорка, которого она вовсе не желала выдавать. Выдача эта могла иметь такие последствия, которые для девушки были страшнее всех салтычихинских наказаний и заранее приводили ее в ужас.

Сидорка как бы понял эту жертву молодой девушки и боялся даже взглянуть на нее. Он, потупившись, стоял за спиной Салтычихи и с лихорадочным любопытством ждал, что будет далее. Он находился как бы во сне, и при этом сердце его болезненно сжималось, а кровь прилиwała к вискам.

Совсем иное думал кучер Аким, спокойно стоя у дверей сторожки.

«Чего она лезет к ней? – думал он. – Что ей

надобно? Как так это – такой дворянчик, как Николай Афанасьевич, заберется в такую хибарку, дрянь дрянью!»

При всем спокойствии Акима в глубине души его все же таилось какое-то чувство ненависти к Сидорке. Он сознавал, хотя и смутно, что между Сидоркой и Галиной есть что-то такое, чего он покуда не понимает, но что существует непременно. Он очень хорошо помнил, как обрадовался его прибытию Сидорка, когда барыня приказала закладывать лошадей для поездки к Никанору. Чему Сидорка радовался? Не тому же, что увидит лес и сторожку. Еще лучше он помнил другой случай. Когда барыня, усаживаясь в тележке, упомянула имя Галины, Сидорка, уже сидевший рядом с ним, с Акимом, на передке, так заерзал на нем, что чуть было не столкнул его, кучера. Все это показалось Акиму подозрительным, и он стал следить за Сидоркой. Уж не завел ли Сидорка шашни с Галиной?.. «О, коли завел, – подумалось вдруг Акиму, – то...» И он чуть было не вскрикнул: «Смотри, Сидорка, смотри! Несдобровать тебе! Я за Галинку тебе горло перерву!»

И точно: кучер Аким был на это способен. Это была злая, необыкновенно грубая натура с кровожадными инстинктами, без жалости, без сердца. Он был одним из ближайших приспешников Салтычихи, и лучшего исполнителя своих грозных расправ ей трудно было сыскать. Он исполнял ее приказания скоро, охотно и безжалостно. Кнут его был всегда наготове, наготове были всегда и здоровые руки. Дворня его чуждалась, ненавидела, но в то же время заискивала перед ним: всякому было известно, что Акимова кнута ему не миновать. Аким держал себя со всеми недоверчиво и мрачно. Казалось, ничего дорогого для него в жизни не было, кроме конюшни и кнута. Однако на деле было не так. Этот человек любил, и любил горячо и неизменно. Он Галиной бредил, он за Галину готов был на все. Любовь его к Галине зародилась слишком рано, зародилась еще тогда, когда он, жалкий, безродный подкидыш, жил у Никанора и игрывал с ней посреди приволья лесного. Не угасла эта привязанность и тогда, когда он попал в число дворни салтычихинской и сделался ее любимым кучером. Он чуял, что Га-

лина ему не сочувствует. Но он терпел и ожидал только случая попросить у барыни отдать за него Галину. Он был почти уверен, что барыня не откажет ему в этом, понимая значение своих кровавых услуг. Редкие свидания с любимой девушкой доставляли ему большое наслаждение.

Наслаждался Аким свиданием и теперь. Но все-таки вид Сидорки тревожил его.

Само собой разумеется, Салтычихе было невдомек, что стоящая перед ней девушка служит предметом спора и любви для двух ее лучших приспешников.

– Ну что же? Что же стоишь-то, как чучело на огороде? Отвечай, что спрашивают! – продолжала гневно Салтычиха.

– Что отвечать, барыня, я не знаю! – отвечала со сдержанной твердостью девушка.

– А, не знаешь! – еще раз сжала кулаки Салтычиха и приблизилась на шаг к Галине.

– Не знаю! – так же твердо отвечала Галина.

– Это, стало быть: не учи козу – сама стянет с возу! Ты и стянула! А, bestия! – Салтычиха подняла руку.

– Барыня! – глухо произнесла Галина.

– Молчи, шельма, молчи! Все знаю! – вскричала Салтычиха, опуская, однако, поднятую над головой девушки руку, и продолжала: – Скажи все! Скажи, шельма, – пальцем не трону! Ну? Ну? – И она стала наступать на девушку.

Та молчала и не трогалась с места. Горевшая в высоком светце лучина затрещала в это время, и нагоревший край ее, свернувшись полукольцом, упал на пол. Лучина горела прямо перед лицом Салтычихи. Салтычиха в злости машинально кинула на упавший нагар свой взгляд и вдруг засмеялась так неестественно, так ужасно, что все трое – Аким, Сидорка и Галина – в невольном страхе вздрогнули.

– Подними! – сказала затем Салтычиха, обращаясь к Галине и указывая на нагар лучины.

Галина, наклонившись, взяла в руки еще тлевший огарок лучины.

– Не то! Пуговицу подними! – приказала Салтычиха.

Тут только Галина заметила, что возле

глевшего огарка лучины лежит большая, шелком обтянутая пуговица от венгерки Тютчева. Девушка дрожащей рукой взяла пуговицу и подала ее Салтычихе.

– Вещь знакомая! – начала злорадно Салтычиха. – Пуговица-то от венгерки Тютченьки! Откуда она у тебя, красавица? Скажи-ка?

Галина молчала и смотрела в пространство. Щеки ее нервно дрожали.

– Молчишь? И то хорошо! Только для молчанок у меня есть вещица, коя говорить умеет заставить! Сидорка! – обратилась Салтычиха к своему второму приспешнику. – Сбегай-ка в лесок-то да наломай поболее белой березянки! Хотя теперь и не Семик, а все же мы с березонькой, с белой-то, поиграем, повеселимся, песен попоем веселых, девичьих!..

Сидорка с места не тронулся.

Глава VI

Последствия

То, что случилось в лесной сторожке Никанора во время посещения ее Салтычихой, имело последствия довольно мрачного характера.

Никанор, обходивший дозором лесные чащи, возвратился в сторожку только тогда, когда Салтычихи там уже не было.

Салтычиха, расправившись по-своему с Галиной, в сопровождении тех же своих припешников, Акима и Сидорки, поскакала уже в Подольск с намерением во что бы то ни стало отыскать Тютчева.

Тютчева она там не нашла.

По дороге в Подольск молодой человек весьма благоразумно рассудил, что Салтычиха в покое его не оставит, будет преследовать и, чего доброго, снова заберет в свои руки. Во избежание чего-либо подобного вместо Подольска он направился прямо в Москву и всю дорогу обдумывал план, как бы ловчее, не попавшись самому впросак, сделать донос на

Салтычиху.

В сущности, Тютчев довольно сильно побаивался Салтычихи, и донос его на нее мог иметь для него, маленького человека, весьма неприятные последствия. Салтычиха была богата, ей уже многое сходило с рук, и, кроме того, у нее были по родству и связям покойного мужа сильные покровители. Родной племянник ее мужа, Николай Иванович Салтыков, впоследствии светлейший граф и знаменитый главнокомандующий Москвы, на служебном поприще подымался уже в гору и имел всюду значение. Родная племянница покойного Глеба Алексеевича Салтыкова была замужем за А. П. Мельгуновым, очень сильным лицом того времени, другом знаменитого И. И. Шувалова. Тютчеву хорошо было известно, что хотя эти родственники и с некоторым пренебрежением относятся к неродовитой Салтычихе, но тем не менее ради ее богатства и детей вели с ней переписку, посещали ее изредка в ее лубянской доме и, во всяком случае, не прочь будут за нее вступиться. Все это молодой инженер знал по опыту, так как ему уже два раза приходилось отстаивать пред

московской полицией темные дела Салтычихи. Какие-нибудь маленькие записочки ее родственников были лучше всяких доказательств и выводов. Небезызвестно было Тютчеву и то, чем расплачивались доносчики: их били кнутом и ссылали в Сибирь. Положим, это были крепостные Салтычихи, которым в таком случае не доверялось. Но ведь и он птица невелика, хотя и дворянин, – в то время с такими дворянами, как он, не особенно-то церемонились. Ввиду таких обстоятельств донос его, Тютчева, мог быть мечом обоюдоострым. Взволнованный молодой человек склонялся то в одну сторону, то в другую: то ему хотелось проучить Салтычиху на страх всем подобным помещицам, то грозная Салтычиха являлась перед ним каким-то неуязвимым зверем. В конце концов он остановился на доносе.

«Что будет, то будет, а я донесу... – рассуждал он. – Не сошлют же меня в Сибирь, кнутом не побьют, пытатель не будут, хотя я и не докажу всех ее зверств, – все-таки я дворянин и человек служащий, меня кое-кто и из высокопоставленных особ знает, и я приношу

пользу своему отечеству. В сем деле, может статья, помогут мне и сей мужичонка молодой и та девица». Вспомнив о Галине, Тютчев забыл уже все остальное и остановился мыслью на образе этой дикой, но прекрасной девушки. «И какая смелая! Дворянина – и за шиворот! Да и сильная какая, здоровая, словно кобылка молодая, так вся и пышет кровью! Удивительно! У мужика, у какого-то грубого полесовщика, – и такая прекрасная дочь, такая, можно сказать, красивая во всех отношениях особа! Еще удивительнее, что этакой дрянной мужичонка, дворовый какой-то, Сидорка там, что ли, его звать, – и имеет счастье быть любимым такой красавицей! Фи, как все в жизни сей несообразно! И как все несообразно распределяется! Я вот, к примеру, я... я самый, к примеру, неудачливый человек! Ищу, как говорят люди, ложки, а попадают мне одни плошки!.. Несуразно!..»

Обдумывая и рассуждая таким образом, Тютчев въезжал в Серпуховскую заставу. Хмуро и уныло глядел на город осенний полдень. Накрапывал дождик, и все под его частой туманной сеткой казалось серым и неприветли-

вым; особенно печально выглядели пригородные хибарки мещан и огородников, все мокрые, все облезлые. Две поджарые, худые собаки сиротливо рылись и вынюхивали что-то в навозной куче у самой заставы. Штук пять ворон и галок прыгали тут же в надежде поживиться. Собаки не обращали на пернатых внимания, хотя те подскакивали почти к самому их носу. Въезжая в заставу, Тютчев почему-то искоса загляделся на этих ворон – и ему как-то сразу стало грустно. Какая-то давнишняя беспомощная тоска охватила его сердце, смутила вконец его душевный покой.

В тот же день, однако, поселившись близ Самотеки, Тютчев занялся кое-какими предварительными справками относительно задуманного. Прежде всего он побывал у отца Варфоломея, священника церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, надеясь найти в нем надежного союзника по доносу. Но молодой человек в этом отношении горько ошибся. Отец Варфоломей, человек относительно умный, старый, рассудительный, сдержанный, много мирволивший Салтычихе и по-

этому щедро получавший от нее даяния, был, понятное дело, на стороне своей благодетельницы-прихожанки. Он был очень удивлен и поражен, даже испуган предложением Тютчева.

– Нет-нет, вьюноша, нет, дело твое неправое, дело твое кривое! – говорил он серьезно и сосредоточенно Тютчеву.

– Почему же, отец мой, неправое? Каким образом? – спрашивал Тютчев.

– А потому, что ты млад еще, сын мой... И по младости лет дело такое затеваешь, затеваешь по злости...

– Но ведь все то правда, что я сказал.

– Неправда, неправда и великая неправда! – замахал отец Варфоломей руками. – Добродетели Дарьи Николаевны, ее посильные жертвы для храма, ее благодеяния для бедных прихожан мне доподлинно известны... Злых же дел за ней я никаких не видывал, не слыхивал и, думаю так по простоте своей, по своему разуму стариковскому, не увижу и не услышу. Бросьте, бросьте все сие, вьюноша! Бросьте, советую вам! По младости можете сами бедствия испытать, и немалые.

– За что же, отец? – наивно спрашивал молодой человек.

– За тщету, за суету мирскую.

– Стало быть, злые дела надо скрывать, потакать им?

– Не говорю сего, вьюноша, не говорю! – отделивался отец Варфоломей от навязчивого посетителя. – Злые дела всегда будут наказуемы – всякому воздастся по грехам его, всякий получит свое: злой – злое, добрый – доброе. Будет испытание в помыслах нечестивого, и слух слов его возойдет ко Господу в обличение беззаконий его.

– Так вот, отец, нам бы и следовало указать беззакония Салтычихи, – ухватился за библейское выражение отца Варфоломея Тютчев.

– Берегись злоречия языка, вьюноша! Клевещущие уста убивают душу, – продолжал поучительным тоном отец Варфоломей.

– Но ведь я не клеветчу! – доказывал свое Тютчев.

– Клеветцешь! – сурово произнес над ним отец Варфоломей и еще раз посоветовал бросить сие дело, непременно бросить. В конце концов он намекнул даже о том, что он мо-

жет примирить его с Дарьей Николаевной, отчего ему, Тютчеву, будет не в пример большая прибыль.

Тютчев ушел от отца Варфоломея злой, расстроенный и бранил себя за то, что позволил себе обратиться к нему с таким щекотливым вопросом, как борьба с Салтычихой. Беседуя с отцом Варфоломеем, Тютчев пришел к заключению, что почтенный старец большой защитник Салтычихи и что он даже сообщит ей о задуманном им, Тютчевым, доносе.

Тютчев в этом отношении не ошибся. Всю наступившую ночь отец Варфоломей, небезгрешный в делах с Салтычихой относительно умиравших в ее доме людей, не мог заснуть и не мог забыть того, что затевает Тютчев. Старик, человеку совсем не злomu, миролюбивому, вовсе не хотелось, чтобы дела Салтычихи, о которых ему хорошо было известно, выплыли наружу. Вместе с обнаружением своевольств Салтычихи, само собой разумеется, обнаружатся и те «умалчивания», которые допускал старик относительно Салтычихи. Не минует, понятно, кара закона и его, хотя он и умалчивал о делах Салтычихи как человек по

тому времени весьма незначительный из боязни к ее силе и значению. Да и что бы значил перед Салтычихой какой-либо протест какого-то никому не известного, бедного священника! Она бы его просто стерла с лица земли, уничтожила бы, как пылинку. Отцу Варфоломею очень хорошо было известно, как поступала и поступает грозная барыня и не с такими людьми, как он, маленький и беззащитный. Скрепя сердце он должен был ладить со своей богатой страшной прихожанкой и должен был делать то, что ей угодно. Старик сознавал, что Тютчев прав, что он должен сделать то, что хочет сделать, что это будет справедливо, но в то же время и не хотел, чтобы Тютчев так поступил. И сердце у старика ныло и болело, что он по необходимости должен стоять головой за Салтычиху. Много отец Варфоломей прожил на свете, ему уже лет около семидесяти, много он бед перенес, много горя пронеслось над его головой, пока он не попал священником в церковь Введения. Не хотелось ему кривить душой на старости лет, а необходимость покривить являлась. Не суда боялся старик – боялся позора.

К утру отец Варфоломей немного вздремнул, но скоро проснулся и тотчас же принялся составлять письмо к Салтычихе. Как на доносчика на Тютчева старик не указывал, совесть не позволяла ему клеветать на человека. Он просто-напросто сообщал ей, что в Москве слухи о ее деяниях усиливаются и что ей поэтому нужно быть настороже. В тот же день письмо с нарочным было отправлено в сельцо Троицкое. Но Салтычиху в сельце оно не застало.

Салтычиха весь тот день сновала по Подольску, отыскивая бежавшего инженера. Разумеется, она его там не нашла и возвратилась к ночи в сельцо страшно утомленная и разбитая. Письмо отца Варфоломея еще более расстроило ее. Она снова принялась было за допросы, потом допросы бросила и начала советоваться с Фивой, как бы ей поймать Тютченьку и проучить его так, чтобы он долго помнил ее науку. Фива весьма благоразумно заметила, что Тютчев непременно удрал в Москву, непременно что-нибудь против нее, барыни, затевает, и что поэтому ей самой надо поторопиться в Москву и там уже ловить

«злодея и изменщика».

– Быть так! – решила Салтычиха. – Завтра же с утра мы и выберемся в Москву. Только, Фивка, не забудь захватить с собой и Никанорову потаскушку, Галинку. Я у этой приворожницы в Москве попытаюсь еще раз порасспросить кое-что о Тютченьке, как он к ней попал и зачем. А то она в сторожке-то своей не больно много порассказала про свои и Тютченькины проказы.

– Захвачу, золотая моя, захвачу! – отвечала Фива.

В сторожке между тем и накануне и в этот вечер происходило совсем иное. Когда Никанор возвратился в сторожку, то застал дочь бледной, страшно взволнованной, дрожащей, но не плачущей.

– Галя!.. – только и мог произнести он, взглянув на дочь.

– Была барыня... тут... сегодня... – каким-то тихим, чуть хриплым голосом сообщила Галина не глядя на отца.

– Чево ей?

– Барина все того ищет, что ночевал у нас.

– Ну?

– Не нашла, вестимо, – уныло постаралась улыбнуться Галина.

– А расспрашивала о нем... о барине-то?..

– Вестимо, расспрашивала... по-своему... – отвечала дочь, потупившись.

Старик побледнел и дрогнул. Он знал, как Салтычиха расспрашивает по-своему, как она справляется.

– Кто ж был с нею... Акимка?.. – спросил Никанор дрожащим голосом.

– Двое были, Акимка и Сидорка... – ответила дочь и вдруг начала истерически хохотать.

Никанора этот смех резнул по сердцу, как ножом.

– Галя! Галя! Чего ты?

– Да уж больно чудно, батюшка! – проговорила девушка, не переставая хохотать. – Сперва меня Сидорка... да тихо, жалеючи... парень добрый... А потом его Аким, а он Акима... Такие чудные!.. А Салтычиха-то ревет, а Салтычиха-то гогочет... «Породнились, – говорит, – все! Кумовья не кумовья, – говорит, – а кашу одной ложкой черпали!..»

Девушка залилась хохотом еще более. Но зато Никанор, отец, стоял перед нею словно к

смерти приговоренный и тупо глядел на валявшиеся всюду по полу какие-то длинные прутья...

Глава VII

На майдан

Через час Никанора в сторожке уже не было. Он для чего-то пробирался лесом на майдан, то есть на место, где когда-то гнали деготь.

Никанору хорошо была известна пустынность этого места, и там на него всегда производила впечатление одна высокая, необыкновенно кудрявая сосна.

На это у него была своего рода причина.

Немало лет, когда Галина была еще ребенком, он, Никанор, под этой кудреватой сосной навсегда распрощался со своей дорогой женой Василисой, кровной цыганкой, выданной за него по каким-то видам покойным троицким барином Глебом Алексеевичем Салтыковым. Как она, Василиса, попала к покойному барину, откуда она, почему барин выдал красивую Василису за него именно, а не за ко-

го-либо другого, – Никанору не было известно, и он в течение трех лет, которые прожил с Василисой, никогда не старался об этом разузнать ни от самой Василисы, ни от дворовых. Василиса почему-то и сама умалчивала обо всем этом, да и вообще была на всякую речь скупа, держала себя с Никанором хотя и не холодно, но довольно сурово. Часто куда-то отлучалась из сторожки, а иногда и пропадала по целым дням. Только один раз, всего только один раз, Никанор как-то и позволил себе спросить у нее:

– Васена! Ты была где-то? Аль у меня нудно?

– Нудно не нудно, – отвечала спокойно Василиса, – а только о том, где я бываю, ты у меня, муженек, вдругорядь не спрашивай – тебе того знать не надобно.

– Отчего бы так, Васена?

– Не скажу! А хочешь следить – следи.

– Следить мне нечего! – нахмурился Никанор и с тех пор уже ни разу не начинал подобной речи с Василисой.

Следить за ней он не думал. В этом Василиса была уверена.

Никанору же какое-то странное чувство подсказывало, что в отлучках Василисы ничего нет дурного.

Василиса не переставала пропадать почасту, когда родилась у нее и дочка. В это время она уже уходила с малюткой на руках, с нею же на руках и возвращалась и при этом нянчилась с нею по целым дням. Видимо, она любила малютку горячо и страстно.

Один случай подтвердил это Никанору как нельзя более.

Василиса ушла как-то с утра, по обыкновению с Галиной на руках.

Скучно стало Никанору без молодой жены, вышел он из сторожки и побрел по лесу, скучая и тоскуя. Вдруг в небольшом березнячке, разросшемся на довольно обширной полянке, он услышал какой-то странный голос. Прислушался: голос его жены. Любопытство взяло верх над благоразумием, и Никанор стал осторожно пробираться к тому месту, откуда слышался голос жены. Когда он приблизился, то увидел следующее: Василиса сидела на траве с венком на голове из березовых прутьев с листьями, качалась из стороны в сторону с ре-

бенком на руках и диким, заунывным голо-
сом пела чисто цыганскую песню на чисто
цыганском наречии.

Затаив дыхание Никанор слушал и не от-
водил глаз от красивого лица Василисы и ка-
чающейся, видимой ему только сзади, голов-
ки его дочери.

Василиса пела:

*Ай, кэрдя же о чапоро
Трин биди глощыны:
Перва беда тэлэ чидя
Пэскире окарбаса,
А о вавир тэлэ чидя
Пэскорэ гадяса,
А э трито тэлэ чидя
Пэокирэ ромняса[1].*

После своей необычайной песни цыганка
быстро встала и, не выпуская малютки из
рук, закружилась с нею, точно в пляске, на-
право и налево, прикрикивая гортанно: «Ага-
ага-ага-ага-ага! Хоп-хоп!»

Малютка, довольная такой проделкой ма-
тери, смеялась во все свое детское горлышко
и махала в воздухе своими пухлыми ручон-
ками, как бы подражая движениям матери.

Мать и дочь, видимо, наслаждались этой незамысловатой забавой, полной наивности и чарующей прелести посреди окружающей их массы зелени, под куполом этого ясного, знойного неба.

При виде всей этой картины отцовское сердце Никанора дрогнуло радостью, и он, совершенно забывшись, шагнул к своей жене и дочери, шумно раздвинув чапыжник, в котором прятался.

Лицо Василисы вдруг стало сурово, когда она увидела мужа. Она нахмурила брови, сжала губы и вытаращила глаза на приближавшуюся к ней фигуру дюжего Никанора.

– Ты? – сказала она внезапно охрипшим голосом.

– Аль помешал? – отвечал Никанор, останавливаясь перед ней шага за два.

– Ни-ни! – произнесла жена. – А только иди куда шел, не трогай нас, иди от нас... Иди, иди!

Никанор постоял с минуту, молча глядя исподлобья на пылающее от зноя лицо жены, и побрел далее, полный смутных чувств – и безотчетной радости, и безотчетной грусти. Он

теперь был уверен, куда именно уходит его жена и что делает. Для него не было сомнения, что ее дикая, привыкшая, может быть с детства, к бродячей жизни натура требовала в известное время своеобразной воли и своеобразного веселья.

Вскоре после этого случая Салтычихе почему-то вздумалось взять Василису снова на барский двор. Это повеление было передано Никанору через управляющего, и Василисе приказано было явиться через день.

– Ладно, приду... – сказала на это Василиса посланному, а мужу шепнула: – Пойдем на майдан – я кое-что скажу тебе там... надо мне...

Когда посланный ушел, Василиса взяла на руки Галю, некоторое время нянчилась с ней, ласкала, целовала, а потом уложила ее спать.

– Спи, – сказала она, – пока не приду. А приду – припаси для Салтычихи камень: она отняла у тебя мамку...

Никанор не слышал этих загадочных слов: он искал что-то в сенях, роясь там в хламе.

На майдане Василиса немного сказала мужу.

– Ну, прощай, дядя, – сказала она, – не поминай лихом, не кори, не брани.

Никанор удивился:

– Не навек же мы расстаемся с тобой, Васена!

– Как знать! Может, и навек. У Салтычихи жить – с огнем дружить. Прощай!

Муж и жена поцеловались. Затем Василиса, низко надвинув на глаза платок, быстро исчезла в частом сосняке, начинавшемся на окраине майдана.

Никанор долго стоял под той кудрявой сосной, где он распрощался с Василисой, стоял угрюмый, недовольный, потом тихо побрел в сторожку и только тут дорогой начал соображать: «Как же так она одна, без дочки, ушла на барский двор? Кто же будет ходить за дочкой?»

У самой же сторожки он решил, что, вероятно, Василиса еще возвратится к нему, возьмет с собой Галю, свою дочку, и будет с нею жить на барском дворе.

Василиса, однако, не возвращалась – не возвращалась день, не возвращалась другой. Никанор как умел возился с малюткой – кор-

мил ее, убаюкивал, играл с ней. На третий день от Салтычихи пришел посланный с грозным приказом, чтоб Василиса немедленно явилась на барский двор.

– Да она ушла! – заявил Никанор.

– На барском дворе ее нет, – сообщил посланный и заметил, подумав: – Да уж не ушла ль она у тебя, Никанор, совсем... куда ни на есть... А?

Тут только Никанор понял загадочность прощания с женой, на которую он тогда не обратил внимания.

– И то, не ушла ль... – сказал он глухо после долгого молчания.

И сердце его защемило страхом неизвестного будущего, и оно сильно заныло...

Когда все объяснилось, Никанора, за «недогляд за женой» сводили на конюшню, а затем оставили его в покое. Относительно же сироты-девочки, его дочери, Салтычиха сказала:

– Пусть кормит как знает... не околет, чай: цыганское отродье живуче... они что кошки: убей, перетащи на другое место – и оживет...

Девочка в самом деле пережила все те

невзгоды, какие только пали на ее детскую головку. Бог уж весть каким путем, но Никанор завел у себя козу и ее молоком вскормил свою дочку. Когда девочка подросла и стала ходить, то нашлись сердобольные дворовые девушки, которые нет-нет да и притаскивали что-нибудь для малютки с барского двора.

Вспомнила наконец о девочке и сама Салтычиха.

– Жива, что ли, еще эта цыганская замарашка? – спросила она как-то у Фивы.

Та справилась и дала утвердительный ответ.

– Ну вот, я говорила, что не околет, переживет.

По этому поводу Никанору кое-что прибавили на харчи.

В это же время какая-то нищенка оставила в Троицком четырехлетнего мальчика. Мальчика взяли на барский двор, но там он никому не понравился, и поэтому решено было отдать его для воспитания в Никанорову сторожку.

«Коль сумел взрастить девчурку, мальчонку взрастит и подавно», – решено было на

барском дворе. И маленький Акимка очутился у Никанора, которого появление в сторожке нового живого существа весьма обрадовало, тем более что и на долю Акимки было прибавлено кое-что на харчи. Была рада появлению в сторожке Акимки и маленькая Галя.

И вот дети зажили вместе, пока не выросли и пока Акима не взяли на барский двор и не сделали из него известного уже нам любимого кучера Салтычихи и любимого ее приспешника Акима-живодера, по выражению дворовых.

Все это, пережитое и передуманное в течение нескольких лет, пронеслось в голове Никанора на пути к майдану, хотя он и шел туда в каком-то странном полузабытьи. Чем более он приближался к майдану, тем более ему становилось тяжело. Он шел и уж чуть не падал на землю. Подобно человеку, ошеломленному ударом по голове и устоявшему на ногах, он находился в состоянии какого-то умственного оцепенения, мешавшего ему и здраво чувствовать и здраво рассуждать...

Но вот и майдан, вот и знакомая ему кудрявая сосна, высокая, печальная в своем оди-

ночестве. Он подошел к сосне, остановился и посмотрел мутными глазами вокруг. Все то же, что он давно знал и видел. Вон грудами лежат остатки сухих кореньев. Вон несколько выкорчеванных сухих пней, оказавшихся непригодными к делу, с серыми боками и длинными, тонкими и крючковатыми кореньями, похожими на какие-то гигантские ноги паука. Вон яма, покрытая дерном, с черным отверстием, заросшая теперь изумрудно-зеленой плотной травкой. Вон какие-то разбитые кирпичи, вон мусор, остатки костров, вон покинутый срубик рабочих. А вокруг на довольно большом пространстве – все пни, пни и пни...

Зачем он здесь?.. Зачем оставлена эта одинокая сосна, свидетельница его давнишнего горя?..

Никанор как будто что-то вспомнил. Он начал что-то вытаскивать из-под полы, что развевалось и падало на землю, а он торопливо подбирал, как будто боялся потерять...

Зачем он здесь?.. Он не знает, он не помнит, зачем он здесь, на этом пустынном майдане, под этой одинокой сосной. Он помнит

только одно – он помнит только те слова, которые он говорил дочери, Галине. Он говорил: «Удерживай меня, Галя! Удерживай!» Но Галя не слушала его, все хохотала. И он ушел...

Вскоре тишина леса нарушилась хриплым криком старого ворона, который зорким хищным оком своим увидел что-то качающееся на суку старой, одинокой среди майдана сосны... Затем прибавился еще крик, и еще, и еще... Хищники нашли добычу, хищники ожидали пира... И будет им пир... а где-то и много горя горького и много горючих слез!..

Глава VIII

Листья шелестят

Долго в каком то жгучем озлоблении, мало что думая, мало что соображая, ходила из угла в угол по сторожке Галина. Слезы душили ее: ей хотелось плакать, но в то же время нервный хохот подступал к ее горлу – и у нее вырывалось более хохочущих звуков из гортани, чем горючих слез из глаз.

Первый позор подействовал на бедную девушку ошеломляющим образом. Она была

зла необыкновенно. Что-то недоброе, враждебное ко всему окружающему зародилось в ней, подобно тому что заставляет лошадь, о которой выражаются, что она «зла к человеку», становиться на дыбы и кусаться. И Галина действительно готова была теперь кусаться со всеми, со всеми вступать в борьбу, враждовать, драться. По временам пальцы ее судорожно сжимались, и для них не доставало только предмета, который она могла бы в озлоблении терзать или душить. При всем этом замечательнее всего было то, что девушка не столько чувствовала озлобление к Салтычихе, сколько к ее двум приспешникам, Акимке и Сидорке, к последнему в особенности.

Сидорка стал для Галины теперь человеком вполне ненавистным, и она никак понять не могла, почему этот человек был ею избран, почему она его любила.

С невыразимым отвращением она вспоминала теперь тот момент, когда Сидорка по приказанию Салтычихи принес в сторожку пучок березовых прутьев и затем отделил от него один пучок, несколько поменьше.

Сидорка в это время глядел потупившись, морщился, поднимал как-то странно плечи и как будто силился что-то сделать смелое и решительное.

Одно время чего-то решительного и ждала от него Галина. Но потом лицо любимого человека изобразило нечто тупое, жалостливое, дурковатое, что, собственно, как-то вдруг и стало омерзительно девушке. Потом кровь прилила ей к голове, и она как в тяжелом сне помнит только, что чьи-то холодные дрожащие руки коснулись ее стана и задержали ее сарафан. Сарафан она затем порвала сама на себе и, вся в жару, в отчаянном ожесточении, что-то выкрикивая, не то угрозу, не то жалобу, отдалась решенной для нее Салтычихой расправе.

Затем уже с подробностями она вспомнила ту смешную сцену, о которой она передавала отцу.

Но где же отец? Куда ушел он? Что она говорила ему такое?

На дворе уже смеркалось. Пора бы ему и возвратиться, ежели он пошел оглядывать лес. Кто теперь, в такую пору, проберется в та-

кую чашу? Кому надо?

Она опять посмотрела в оконце, опять прошла и как-то вдруг почувствовала во всем своем теле усталость. Ее клонило ко сну. Как бы разбитая и изнеможенная, она уже еле двигалась, напоминая и всей своей сероватой фигурой, и всеми своими усталыми движениями раненую летучую мышь, хлопающую крылом. Не выдержав, наконец, охватившей ее истомы, Галина склонилась ничком на лавку и заснула тяжелым, крепким сном преступника, ожидающего наутро казни.

Странны, иногда очаровательны, иногда смутны и томительны были видения девушки.

Первый весенний воздух ворвался сегодня в маленькое оконце сторожки. Отца в сторожке нет: он по делу ушел на барский двор, в Троицкое, и возвратится только к вечеру. А теперь на дворе утро, ясное, улыбающееся, – улыбающееся той непонятно-очаровательной прелестью, которая свойственна только одной весне. Скучно ей одной в сторожке, делать нечего, нечего ждать и отца. Покрытые свежей листвой березки, которые она видит

из оконца и которые бог весть почему похожи теперь на улыбающихся в своем наряде целомудренных невест, так и манят под свои кудрявые ветки и словно шепчут промеж себя что-то такое, что может понять только одно юное девичье сердце. Девушка захлопывает оконце, запирает сторожку и медленной, точно ленивой походкой, свойственной одним только физически формирующимся девушкам, идет к березкам. «А, здравствуй, девушка-лебедушка!» – словно шелестят они красавице навстречу. Но вот она и среди березок. Идет, оглядывается, прислушивается. Ничего не слышно, кроме шелеста, да где-то пеньочка стонет свою однообразную, но всегда за душу трогаящую песенку. «Ах, сколько ландышей!» – восклицает Галя и начинает рвать серебристые цветы весны. Она их набрала целую горсть, потом набрала их в фартучек и пошла с ними без определенной цели далее. Шла-шла – и остановилась. Где-то в уреме, как-то вдруг, сразу, словно навстречу девушке, зарокотал соловей – нельзя же было не заслушаться певца весны и для того не приостановиться. Соловей долго пел без перерыва.

Долго стояла и Галя, прислонясь плечом к стволу какого-то дерева. И потом, когда соловей наконец смолк, Гале стало грустно, необыкновенно грустно. Она опять побрела лесом, но уже опустив головку, и вдруг как будто сами собой, невольно и без желания, из груди ее полились звуки:

*Коровать ты моя, короватушка!
Запустела коровать без мила
дружка,
Без мила-то дружка, без сердеш-
нова!*

Не успела смолкнуть ее девичья, печалующаяся на одиночество песенка, как недалеко от нее, почти в нескольких шагах, раздалась другая песенка, более смелая и более веселая. То была молодецкая песня.

Молодец пел:

*По зорюшке, по заре,
Что по утренней заре,
Шел детинка из гостей —
Со великих радостей.
Он торопится, бежит,
К своему двору спешит.
За ним девица бежит,*

*Кричит молодцу: «Постой!
Неженатый, холостой,
Неженатый – вожеватый
Разголубчик, любчик мой!»*

Галя сперва притаилась – хотела было переждать, когда пройдет молодец-певец, но потом, чего-то вдруг застыдившись, как испуганная птичка, порхнула в сторону, и – что за диво такое! как это могло случиться! – очутилась лицом к лицу с певцом-молодцом.

– Ай! – только и могла вскрикнуть она, роняя из рук и из фартучка ландыши.

Удалая песня оборвалась сразу, она смолкла, как порванная струна, дернутая слишком смелой рукой увлекшегося музыканта.

Певец, несколько подбоченясь, с видимо напускной смелостью, стоял на дороге, на которую выскочила Галя, и улыбался во все свое молодое лицо, загорелое, с каплями пота на лбу.

Девушка, невзирая на свое смущение, тотчас же заметила, что перед нею стоит не совсем деревенский парень. Синий кафтан, цветная рубашка, надетая набекрень легкая войлочная шапка, смазные сапоги – все пока-

зывало, что парень из дворовых и привык, по-своему конечно, держаться в барских хоромах.

Сердце девичье, еще не тронутое невзгодами любви, – загадка немудреная. Оно всегда поддается первому впечатлению, и первый человек, сумевший молодцевато, проще сказать картинно, показаться перед ним, перед этим сердцем, иногда завоевывает внимание, а затем чаще всего любовь. Во всех классах человечества в этом отношении повторяется одно и то же: будь это девушка высшего сословия или самая простейшая крестьянская замарашка. Так называемым ухватистым молодым людям всюду почти всегда везет, все удается.

*Не родись богатым,
А родись кудрявым:
По шучью веленью
Все тебе готово.
Чего душа хочет —
Из земли рождается,
Со всех сторон прибыль
Ползет и валится.*

Так пел про молодецкую, удачливую удаль

талантливый поэт-сердцеведец, и песнь эта проста и правдива, как сама простота и правдивость. Молодецким кудрям все нипочем!

Кудряв и красив был из себя и стоящий перед потупившейся Галей парень. Странное, почти мимолетное чувство уже коснулось сердца девушки и оставило там свой неизгладимый след. Солнце для нее засветило ярче, окружающий ее лес зашелестел своими листьями и явственнее и заманчивее. Девушке уже захотелось услышать от того слово, кто стоял перед ней в позе победителя. И она услышала его.

Певец заговорил, и заговорил смело и вкрадчиво.

– Мы не воры, мы не разбойники – нас бояться нечего, лебедушка! – начал он с объяснения. – А тебя мы давно знаем.

– Откудова? – решилась приподнять голову девушка.

– А мы, лебедушка, на одного воеводу возим воду – вот откудова.

Галя не поняла его.

– Из дворовых? – спросила она несмело.

– Сама видишь! У дворового всегда много

нового! – забалагурил парень. – Особливо у Салтычихи.

– Стало, ты троицкий?

– Троицкий и есть. При самой барыне стоим... вместе с Акимкой. Акимку, чай, знаешь?

– Это он у нас в сторожке был? – оживилась девушка, радуясь предлогу, что может говорить свободнее.

– Он самый. В кучерах он теперь у Салтычихи. А мы будем – Сидор Ананьич... Лихарев по прозвищу... Что, по шерсти кличка али нет? – засмеялся парень, оскалив белые здоровые зубы.

– Я не знаю... – замялась девушка, не находясь, что на это ответить.

– Не все и знать надо вашему брату, белой лебедушке. А нам, молодцам, кое-что и необходимо знать. Ты вот, знаю, Никанорова дочка, нашего лесника Галина. Стало быть, Галина Никаноровна.

Тут Лихарев сделал умильное выражение лица и проговорил, кланяясь:

– Здорово, Галина Никаноровна! Не обесудь на первом знакомстве. Может, когда и

пригодимся.

Только и всего было сказано при этом первом знакомстве.

Но эти простые последние слова Лихарева долго не давали девушке спать по ночам, и долго она ходила на то место дороги, где впервые с ним встретилась и где впервые говорила с ним в ясный вешний день под шелест листьев очнувшегося после зимней спячки бора. Потом так же долго она ждала того, кто так вовремя и кстати явился перед ней, чтобы рассеять ее девичью грусть-тоску.

Хитрый паренек явился, и явился тоже как-то вовремя и кстати, хотя как будто бы мимоходом, невзначай. На этот раз все уж было кончено: все объяснилось, все переговорилось, и начали мелькать для Галины дни за днями в каком-то неведомом для нее чаду, в каком-то неведомом для нее опьянении, не знающем никаких размышлений, никаких дум, кроме одной заветной думы. Галина полюбила, и полюбила со всей страстью, какую вносят одиноко взрослые девушки в любовь, полюбила со всей нежностью, накопившейся в ее юном сердце, которое еще не любило, с

безумием мозга, как бы пораженного счастьем, и, наконец, такой горячей любовью, существование которой только и возможно было допустить у такой, какой была Галина с ее цыганской кровью.

Счастливые дни в один день, в один час были омрачены, были разбиты. Ужели всему виной Салтычиха? Не Сидорка ли?

– Сидорка! Сидорка! – раздался чей-то негромкий, но отчетливый голос, казалось, над самым ухом Галины.

Галина вздрогнула всем телом, очнулась и открыла глаза. Бок у нее ныл, одна рука тоже. Она медленно приподнялась с лавки, потянулась. Свет горящей лучины ударил ей прямо в глаза; она прищурила их и опять открыла. Теперь она уже хорошо видела, что в сторожке, у конника, стояли к ней спиной два человека в армяках и с чем-то возились.

Прежний голос снова повторил, но погромче:

– Сидорка!.. – И прибавил: – Да что же ты нейдешь? Дубина!.. Подь сюда!.. Нам одним не справиться... того гляди, уроним...

На пороге появился Сидорка без шапки, с

перепуганным лицом.

Давешняя злость мгновенно закипела в сердце Галины, и она, вскочив с лавки, почти закричала ему навстречу:

– Уйди!.. Уйди отсюда!.. Тебе здесь не место!.. Уйди!..

– Молчи ты... дура!.. – остановил ее тот же голос, который звал Сидорку. – Тише!.. В доме мертвец... Уважь мертвеца-то, оглашенная!..

Глава IX

Над свежей могилей

То утро, в которое Салтычиха собиралась в Москву, было для нее не особенно приятно.

В то самое время, когда все уже было готово к отъезду, из сельца на барский двор прибежал оторопевший мужик с неприятным известием.

– Никанор удавился... в лесу, на майдане... – доложил он испуганным голосом барыне, садившейся уже в свой вместительный, тяжелый дорожный рыдван.

– Дурак!.. скот!.. – крикнула на него Салтычиха и быстро с помощью Фивы начала выле-

зять из рыдвана.

Салтычиха верила, как обыкновенно верят почти все злые женщины, во всякого рода приметы, и потому сообщение мужика о повесившемся Никаноре смутило ее. Она уже боялась ехать в Москву в полном убеждении, что в дороге с ней случится какое-нибудь несчастье. Повесившихся она боялась в особенности. Она верила, что висельники встают по ночам и долго ходят туда, где повесились, и к тому, кто был причиной их гибели. О других мертвецах почему-то она была совсем иного мнения: те не вставали и ни к кому не приходили. Чужая за собой относительно Никанора вину, она уже заранее боялась его посещения и проклинала и мужика, сообщившего ей о висельнике, и самого висельника.

Мужику, однако, досталось более: его немедленно отправили на конюшню, и там с ним распорядились как следует.

Распорядились, впрочем, и относительно Никанора. Сидорке и еще двоим другим дворовым приказано было снять висельника и похоронить без замедления где-нибудь в лесу, вбив ему в спину осиновый кол в предупре-

ждение того, чтобы он не мог вставать и не бродил по ночам. Галину же приказано было привести на барский двор.

По указанию мужика Сидорка с дворовыми, захватив лопаты, отправились на майдан.

Сняв с петли окоченевший труп Никанора, Сидорка почел за лучшее доставить труп сперва в сторожку, чтобы дочь могла проститься со своим покойным отцом. Он был в душе малый добрый, верующий и к тому же любил Галину, которая так неожиданно и грустно осиротела.

Вид оледенелого трупа отца с посиневшим и раздутым лицом поразил Галину так, что она несколько минут стояла без малейшего движения, глядя безумными глазами прямо в лицо безжизненного старика. Все было на нем так, как он ушел из сторожки: тот же армяк, сапоги. Были растрепаны только седые волосы. И еще бедная девушка видела страшно искривившийся рот с каплями застывшей крови по краям губ. Вдруг ей показалось, что покойный улыбается, – и ужасна до оледенения крови была эта улыбка покойного. Чему он так ужасно улыбается? Чему он так ужас-

но радуется? Ведь он мертв и не встанет более. Или, может быть, эта безжизненность и есть настоящая жизнь, и старику хорошо, что он покончил с той жизнью, которая так долго томила его? Долго глядела бедная девушка на это посинелое лицо, на эту странную улыбку, и наконец начала улыбаться сама...

Дворовые переглянулись. Не было сомнения, что девушка обезумела от горя. Пора было покончить со всем этим, пора было унести труп.

– Похороним... чего ждать? – напомнил все тот же дворовый, который ранее звал Сидорку из сеней.

– Похоронить надо... – согласился Сидорка глухим голосом. – Пора уж, Салтычихе надобно ответ дать.

Дворовые завозились около трупа, потом понесли его.

Галина следовала за ними, молча и медленно, с широко открытыми глазами, как у безумной.

Сидорка отыскал где-то рогожку, какой-то грязноватый кусок полотна вроде простыни, и следовал с ними и с лопатами за несшими

труп дворовыми. Все трое шли без шапок.

– Братцы, далеко ходить нечего... – заговорил Сидорка, когда все очутились в оголенном уже осенью березняке, в том самом, который прошлой весной так очаровал Галину. – Схороним тут – место самое подходящее. Клади старика на землю. Бери лопаты.

Дворовые согласились.

В несколько минут была вырыта неглубокая могила, и в несколько минут труп несчастного полесовщика, завернутый в простыню и рогожу, был засыпан влажной лесной землей. Все крестились и тогда, когда зарывали труп, и тогда, когда труп был уже зарыт. Сидорка при этом, все еще бледный, расстроенный, прочел дрожащим голосом молитву. Об осиновом коле при этом никто не вспоминал. Еще ранее решено было бросить это «нехристианское дело», так как Никанор никогда колдуном не был, а кол вбивают только в могилу колдунов. Довольно и того, что несчастный был лишен христианского погребения. Все трое согласились по этому делу перед Салтычихой соврать.

– А в случае справок скажем, мол, что с пе-

репугу не помним, где похоронили!

С этой целью земля над могилой была при-
топтана, потом плотно засыпана грудой опав-
ших листьев, и прошлогодних и опавших в ту
осень.

Когда все было кончено, дворовые поторо-
пились домой.

С Галиной остался один Сидорка.

– Галя! Галя! – начал он. – Что за горе такое
стряслось над нами?

Девушка глядела на него удивленно и дол-
го ничего не отвечала. Потом заговорила ти-
хо, каким-то угнетенным голосом:

– Вот и похоронили... вот и не стало моего
родного... совсем-таки не стало...

– Не стало, Галя... покончил с собой... бед-
няга!

– Что с ним?.. Как он?... Я ведь, не знаю, Си-
дорушка... – спросила все тем же голосом де-
вушка со слезами на глазах.

– Удавился на майдане... Очень просто...

– А-а! – протянула девушка и задумалась,
как бы что-то припоминая или соображая. По-
том, словно бы сама с собой, заговорила: – Что
же мне теперь?.. Куда мне?... Родной нет, род-

ного нет... Одна... как есть одна-одинешенька... что засохшая былинка в поле... – Галина закрыла лицо руками и повторила опять: – Куда же мне теперь?.. Куда, Сидорушка?..

– На барский двор велено тебе, Галя, – отвечал Сидорка. – Салтычиха требует.

– На барский?.. Ну да... помню... знаю... слышала...

– Так пойдем. Брось эту сторожку проклятую.

– И брошу, и не приду сюда никогда! Уж точно что проклятая! Радости было мало, а горя-то, горя... ах, много было горя горького!

Сидорка приблизился к девушке:

– Галя, забудь все... брось... Чего нам!..

– Что бросить? Что забыть, парень? – произнесла девушка.

– Да все, все брось!

Девушка странно и тихо рассмеялась:

– Стало быть, забыть и то, как ты отхлестал меня, Сидорушка?..

– Да нешто я волен был в том?! – почти вскрикнул Сидорка. – Видела, что со всеми нами творила Салтычиха! Ослушался бы – она бы запросто приказала Акимке убить и меня

и тебя. Убил ли бы тебя Акимка – не знаю, а что меня бы убил – это самое верное дело. Тебе ведь неизвестно, что у него всегда за голенищем отточенный нож имеется. Он всегда им, анафема, готов поработать, что разбойник какой придорожный...

– Я этого не знала, Сидорунка, уж прости, – сказала совершенно искренне Галина, чувствуя, что она не в силах ненавидеть этого человека.

– Не знала! – воскликнул Сидорка. – Мало ли ты чего не знаешь, что у нас на барском дворе деется! Дыбом волос становится! А что мы похлестали маленечко друг друга – беда невелика, это горе не в горе, до свадьбы заживет!..

– И все это Салтычиха! Все Салтычиха! – произнесла вдумчиво Галина.

– Все она, окаянная!

– Все она?..

Сказав это, Галина вдруг потрянула головой и хрипло, точно ей кто-нибудь сжимал горло, заговорила:

– Сидорка, слушай, что скажу! Слушай!

– Ну? – взял ее за руку Сидорка.

– Вот тут лежит батька! – разгорячилась девушка. – Уж он не встанет больше, нет, нет!.. Он не встанет, чтобы задушить свою злодейку, свою кровопивицу... Так слушай, слушай!.. Люб ты мне, много люб, Сидорушка! Не покину я тебя никогда, никогда не разлюблю! Так не покидай же и ты меня! Не разлюби же и ты меня, дорогой мой парень!

– Галя! Галя! – было ей ответом со стороны Сидорки, тоже увлекшегося ее горячностью.

– Верю тебе, Сидорушка, верю! – продолжала девушка. – Так верь же и ты мне! А коль веришь, так поклянись над моим батюшкой несчастным, что ты мне поможешь отплатить Салтычихе за все то, что она для нас сделала. Клянешься ли, Сидорушка?

– Э, Галя! – качнул головой Сидорка. – Я уж об этом давно думаю, давно это в мыслях у себя держу. Просил даже об этом у барина, у Тютчева, кой тоже теперь на Салтычиху зубы точит... Да все как-то не ладится... Уж больно много прихвостней у Салтычихи – за всяким твоим шагом следят, все подглядывают, все подслушивают... В таком деле ухо надо держать остро, ой как остро!

– Ты и держи! – серьезно сказала Галина. – А все же таки поклянись, что ты мне поможешь, Сидорушка! Может, вдвоем-то и сладим с этой волчихой ненасытной, с этой кровопивицей нашей!

– Что ж, я завсегда готов! – согласился Сидорка,

Крестясь, он произнес три раза слово клятвы, а потом, став на колени, тоже три раза поцеловал землю, под которой только что был зарыт несчастный полесовщик.

Девушка подняла его и горячо поцеловала.

– Ну, Сидорушка, теперь ты мой, а я твоя! Пусть нас разлучит теперь только одна гробовая доска! Все я позабыла, никакого зла на тебя не имею. А имела было.

Затем, слегка отклонив от себя любимого парня рукой, Галина тоже опустилась над могилой отца, склонилась к земле головой и зашептала что-то для Сидорки невнятное.

Сидорка стоял не шевелясь, благоговейно и любовно смотрел на свою любимую девушку.

Счастье, смешанное с непонятной грустью и с только что пережитым впечатлением, ти-

хо охватывало его сердце, и вместе с тем что-то жуткое как бы подкрадывалось со стороны и простирало над ним какие-то страшные, цепкие руки...

Девушка с могилы отца не вставала долго. А когда встала, то и ей, и Сидорке представилась новая картина. Со стороны сторожки несло гарью, дымом, а мгновениями сквозь сетку деревьев сверкал и огонь...

То горела сторожка покойного полесовщика Никанора. Огонь лучины, позабытой второпях, пожирал последнее имущество бедняка. Ни Галина, ни Сидорка даже не тронулись с места, чтобы спасти хоть что-нибудь. Для них это было совершенно излишне: им жалеть в сторожке, где уже не стало хозяина, было нечего...

Они стояли и как будто даже любовались на этот все выше и выше поднимающийся над лесом дым. Не с ним ли уходила куда-то в необозримое пространство и бедная душа старого полесовщика Никанора!.. Бог весть!...

Глава X

Новые подруги

Дом Салтычихи на Большой Лубянке, близ Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, представлял собой маленькую своеобразную крепость: все было устроено прочно, здорово и так, что посторонний человек нелегко мог пробраться туда. Железные ворота были всегда на замке. Сам дом, находившийся в глубине обширного двора, был закрыт разросшимися в ширину и ввысь громадными тополями, под тенью которых было несколько собачьих конур с необыкновенно громадными и злыми собаками, которые, как голодные волки, готовы были кинуться на всякого, кто посмел бы пройти к дому без сторожа, в свою очередь человека разбойничьего вида и разбойничьего характера, всегда держащего в руках громадную, обитую на конце железом дубину.

Сторож этот, по имени Анфим, стоял у ворот неизменно, и неизменно ошарашил бы дубиной всякого решившегося как-нибудь

пробраться на двор. Он от природы был нем, и потому мрачен, зол, силен и весьма здоров. По какой-то странной привычке он и спал с одним открытым глазом. Салтычиха любила этого верного пса в человеческом облике и часто, не в пример другим, дарила его не только щеголеватой одеждой, но даже и деньгами. Когда Салтычиха уезжала на лето в Троицкое, то весь дом оставался на его попечении, и ей хорошо было известно, что в доме все будет в целости и на месте. Кроме того, он в доме нередко исполнял и поручения барыни – особенно секретные, важные, те именно, какие исполнить не в силах были другие. Было ему лет около пятидесяти, и он, собственно, не был крепостным Салтычихи. Пришел он как-то к ней в одной рубашке, босой, без шапки и знаками начал проситься в услужение. По его разбойничьей физиономии Салтычиха сразу распознала в нем верного раба и приказала отправить его сперва на кухню выносить помой и ездить за водой, а потом уж поставила его сторожем у ворот.

Так как он не мог объяснить своего имени, то дворовые называли его Анфимом, и называли

потому, что перед его появлением в доме у Салтычихи умер один из дворовых по имени Анфим. Салтычиха же, по свойственному ей обращению, называла его просто Немым Чертом, что, по-видимому, весьма нравилось Анфиму, и он всегда сурово улыбался на этот зов барыни. Дворня этого молодца ненавидела хуже Акима-кучера, потому что ему были ведомы все шашни и проделки дворовых, и он, коли был зол на кого, умел как-то передать Салтычихе то, что ему было надо. Само собой разумеется, виновный получал то, чем умела дарить Салтычиха. Особенно Немого Черта ненавидел весь женский персонал салтычихинской дворни, так как любовные похождения их не имели уже благодаря Анфиму того милого характера, какой им был желателен. Зоркий глаз Анфима и железные ворота очень часто и очень сильно охлаждали их сердца, и красавицам и некрасавицам салтычихинских девичьих и передних волей-неволей приходилось скучать в одиночестве.

Приезду Салтычихи из Троицкого в дом Анфим всегда радовался, как какому-нибудь празднику. Он наряжался в лучшую свою ру-

башку, в лучший армяк, в сапоги и без шапки ожидал ее у самых ворот. Всякий раз Салтычиха, вылезши из дорожного дормеза, непременно, как собаку, трепала Анфима по наклонной спине, приговаривая: «Ну-ну, здорово, Немой Черт!» – и потом уже в его сопровождении входила в дом.

В только что совершившийся теперь приезд Салтычихи из Троицкого Анфим услышал, а лучше сказать более понял по движению ее губ и по выражению глаз, и нечто другое.

Позади барыни, когда она только вылезла из дормеза, стояла совершенно неизвестная Анфиму девушка с небольшим узелком в руках.

Салтычиха, мотнув в сторону девушки головой, громко сказала:

– Смотри, Немой Черт, – новая! Не оплошай! Такая-то и ворота твои железные про сверлит!

Анфим вскинул свои мутные глаза на девушку и быстро опустил их.

Барыня шла уже к дому, и он поспешил за ней.

В тот же день, вечером, при сальном огар-

ке в самом далеком уголке громадного салтычихинского дома сидели две девушки и тихо вели между собой беседу, по-видимому, несколько стесняясь друг друга и не особенно откровенничая, как обыкновенно бывает между новыми, не привыкшими еще друг к другу, знакомыми.

Одной из девушек была Галина, вместе с барыней приехавшая из Троицкого в качестве новой горничной. Она довольно много изменилась с того дня, как стояла на могиле отца с Сидоркой. Глаза ее впали, щеки были бледны, губы часто искривлялись в какую-то странную улыбку, и вообще вся фигура ее представляла нечто озабоченное, как бы даже испуганное, что, однако, почти нисколько не мешало ей быть по-прежнему красивой и привлекательной. К ней особенно шел ее новый наряд, «городской», как говорилось между дворовыми. Волосы ее были тщательно и гладко причесаны. Прежней дикарки в ней словно бы и не бывало.

Галина держала себя с другой девушкой, новой ее подругой, тоже горничной, Агашей, осторожно и сдержанно. Она больше слуша-

ла, чем говорила. Агаша это очень хорошо понимала и старалась внушить Галине к себе доверие.

И действительно, Агаша была девушка добрая и простая, низенькая, круглолицая, белокурая, всегда вся сияющая ямочками на щеках и улыбочками на румяных губках. Суровая жизнь под кровлей Салтычихи, казалось, не влияла на нее нисколько, и казалось, что побои, которых она переносила множество и почти на каждом шагу, были ей в пользу. Она одна среди угрюмой салтычихинской дворни являлась каким-то светлым существом. За это все ее любили, кроме одной Салтычихи, которая никак не могла примириться с бесконечным весельем и добродушием своей горничной.

Увидев Галину на барском дворе, она тотчас же оценила добрые качества лесниковой дочери и вошла с ней в дружбу, передав ей добродушно все сплетни и все тайны барских хором, и притом, во избежание побоев, знакомила ее с тем новым делом, на которое ее, Галину, определили. За это Галина была весьма благодарна Агаше и поверила ее дружбе, хотя

и с некоторой осторожностью. Теперь им в Москве, в доме Салтычихи, отвели один уголок, и они по необходимости должны были жить вместе и вместе делить горе и радости. Этому обе были рады.

Утомленная дорогой, Салтычиха рано завалилась спать и отпустила всех по своим конурам. Девушки обрадовались свободе и повели тихую беседу.

– Черт с ней совсем, с этой Салтычихой! – откровенно болтала Агаша. – Все ее боятся тут, а я, право же, нисколько не боюсь ее. Ну поругается – и перестанет, побьет – и тоже перестанет. А мне все как-то впрок идет – и ругань ее, и побои. Право же!

– Ты, должно, привыкла, – заметила Галина.

– Тут ко всему привыкнешь, Галя.

– Я вот, думаю, не привыкну тут ни к чему.

– Привыкнешь.

– Разве к худому привыкают?

– А тут добра и во веки веков не дождешься.

– Ах, это правда твоя, Агаша! – произнесла сокрушенно Галина.

– Вестимо, правда. А только худому этому, поди, и конец когда-нибудь будет, – понизила голос Агаша.

– А ты почему же это знаешь? – спросила почти шепотом Галина.

– Вдругорядь как-нибудь расскажу. Теперь не время. На все свое время, Галочка.

Девушки примолкли, точно раздумывая о чем-то, всякая сама про себя. Да и хорошо сделали, что примолкли, так как на пороге их каморки появилась та, о ком только что шла речь.

– Аль не спитя, паскуды? – сказала сквозь зубы появившаяся на пороге Салтычиха, со свечой в руках, простоволосая. – Зову, зову, а они тут, момошки мои, речи ведут девичьи, по милым дружкам вспоминают!

Девушки вскочили со своих мест.

– Чего вскочили как оглашенные! Сидели бы. Барыня и сама кое-что сделает. Не велика, мол, птица!

Девушки молчали и смотрели на Салтычиху в изумлении.

– Аль не узнали, кто пришел? – зарычала уже грозная барыня. – А коль не узнали, так

узняйте, да кстати уж и познакомьтесь получше! Ну-ка!..

Глава XI

Безумная

Жизнь Салтычихи в Москве, в ее доме на Лубянке, потекла обычным чередом: все шло так, как шло и ранее, несколько лет подряд. Порядки все были те же. Продолжалось все то же своевольство грозной барыни, продолжались все те же ее расправы, все те «бабьи», как она говорила, потехи. Так же, как и прежде, дворовые глухо роптали, но открыто восстать и боялись и не могли. За ними оставалось одно только право: разносить по Москве, по ее улицам и переулкам, по ее харчевням и гербергам (тогдашние пивные) вести о поступках Салтычихи, придавая этим поступкам, по злобе, почти невероятные проявления. Так как дворня Салтычихи, особенно женская, была довольно многочисленна, то были многочисленны и те рассказы, которые из Салтычихи сделали настоящего зверя лютого. Это была своеобразная месть дворни,

достигавшая как нельзя лучше своей цели. Говорилось ими про Салтычиху то, чего она никогда и во сне не видывала, хотя действительно жестокости ее и имели характер чудовищный, невиданный и неслыханный на Руси. Сама же Салтычиха про рассказы эти ничего не знала и продолжала действовать по-прежнему, ничего не опасаясь и надеясь при этом и на свое богатство, и на свои родственные связи со знатнейшими людьми того времени.

Между тем глухая сдерживаемая ненависть делала уже свое дело, и приближался час, когда и над Салтычихой должны были нависнуть черные тучи: под влиянием новой горничной, Галины, очень резко и очень открыто порицавшей действия своей барыни, дворня как-то незаметно для себя приободрилась, осознала, по-своему конечно, свое человеческое достоинство и уже не так покорно и безропотно переносила то, что прежде казалось делом хотя и жестоким, но обыденным, неотвратимым. Само собой разумеется, что Салтычиха тотчас же заметила все это, удвоила свою бдительность, удвоила даже свою же-

стокость, но червь чего-то неожиданного, чего-то грозно-мрачного подтачивал уже и ее очерствелое сердце. Она уже плохо спала, а когда засыпала, то сны ее были тяжелы и тревожны. Не в силах была утешить ее и Фива. Прежняя любимица страшно опустилась, исхудала, пожелтела и часто заговаривалась; видимо, дни ее быстро шли к закату, смерть стояла уже за ее плечами. Когда-то зоркие глаза верной рабы и приспешницы салтычихинской потускнели, уши оглохли; она была уже бесполезна для своей госпожи, и над нею уже глумились, платя тем за старое, не только взрослые дворовые, но даже дворовые мальчишки и девчонки. Да и самой Салтычихе она была уже противна, так как своей разрушающейся особой напоминала ей, что и она, Салтычиха, когда-то состарится и так же, может быть, как и Фива, и ослепнет, и оглохнет, и еле будет двигаться. А между тем Фива была ведь когда-то баба здоровая, сильная, краснощекая. Присутствие Фивы так наконец стало невыносимо Салтычихе, что она решила отослать ее на покой в Троицкое. Но один случай предупредил ее решении.

Как-то Фива, в минуты, когда старческая немощь ее поутихла и ум просветлел, бог весть каким путем узнала очень важную для Салтычихи новость. С нею она тотчас же приплелась к своей госпоже. Новость эта состояла в том, что Николай Афанасьевич Тютчев, убежавший от Салтычихи, никогда уже более к ней не возвратится, потому что сошелся с некоей дворянкой, девицей Анастасией Панютиной, с которой и намерен в скором времени вступить в супружество.

Сообщение это взорвало Салтычиху.

В последнее время, простив во всем молодого инженера, она все еще ждала его возвращения и даже была уверена в том и потому не принимала никаких мер к его отысканию в Москве. «Придет, мол, – думала она, – прогодается – и придет. А я пожурю его маленько и опять приму. Паренек-то он добрый, простой». Теперь оказывалось благодаря сообщению Фивы, что этот паренек, простой и добрый, совсем-таки ускользает из ее рук, ускользает безвозвратно, если женится, а он все-таки хотя и по-своему, но был дорог Салтычихе и составлял почти единственное и по-

следнее ее утешение. Она любила Тютчева, но любовью странной, почти дикой. Что-то жестокое и ядовитое было в ее привязанности к молодому инженеру. Бывали минуты, ранее, в Троицком, когда Тютчев всецело принадлежал еще ей, что она, полная к нему особенной нежности, хотела кусать его, терзать, душить, даже резать ножом. В таком роде однажды и было нечто подобное, окончившееся тем, что взбешенный молодой человек, в свою очередь, сильным кулаком повалил Салтычиху на пол, и та от души хохотала, катаясь по полу, вся покрасневшая, со сверкающими страстью глазами, говоря задыхающимся, хриплым голосом: «Вот это так, вот это молодецки! Ткни еще разок в морду-то, ткни, милой Тютченька!» Подобных сцен между ними более не повторялось, но и эту одну сцену Салтычиха помнила до сих пор, и всякий раз, когда она вспоминала о своем Тютченьке, он непременно представлялся ей бьющим ее здоровым своим кулаком в грудь.

Представился Тютчев Салтычихе в подобном виде и теперь, при сообщении Фивы о его измене. Дикая любовь, смешанная со звер-

ской злостью, охватила ее женское сердце, и ей не хотелось верить тому, о чем сообщила ей Фива.

– Врешь! Врешь, старая карга! – захрипела она, в одно и то же время бледнея и краснея от негодования и бешенства.

– Не вру, не вру, ей-богу, не вру! – зашамкала и закрестилась Фива. – Все доподлинно разузнала. А живет он, благодетельница, на Самотеке, у Троицы. Там же и потаскушка его в своем домишке проживает. Он у нее.

Этого было достаточно, чтобы бешенство Салтычихи дошло до крайних пределов. Мрачная, как туча, со сжатыми кулаками она бросилась на бедную старуху и так толкнула ее в тощую грудь, что та упала навзничь и несколько минут лежала без движения.

В тот же день сообщение Фивы подтвердилось во всех подробностях. А старуха Фива окончательно помешалась и заговорила при дворе, блуждая по дому, о таких делах Салтычихи, о которых дворня, знавшая и выдававшая немало, и слыхом не слыхивала.

– Ела, ела! Сама видела, как ела! – кричала она под вечер в кухне почти при всей

дворне, размахивая руками и поводя странно сверкающими глазами. – А потом мы с ней на гнедке за Ростокино ехали. Ехали, а сосна к нам навстречу – чугу-чугу! Она и сосну за корешок да в рот... Такая прожорливая... барыня то наша, наша-то волчиха ненасытная!..

Затем, как бы опомнившись и что-то сообразив, Фива примолкла и обвела всех слушавших блуждающим, тусклым, как олово, взглядом. Все в ужасе слушали ее, не зная, что предпринять: не обращать ли на слова старухи никакого внимания или же немедленно донести обо всем Салтычихе. Между слушающими странные, болезненные речи безумной старухи находилась и Галина с Агашей. Они значительно переглядывались между собой, причем на молодых и свежих лицах их изображалась необыденная радость: видимо, речь старухи была для них чем-то, что только было известно и доступно им одним. Агаша даже не удержалась, чтобы не пошутить при таком случае.

– Все-то ты врешь, Фивушка! – смеялась она весьма добродушно. – Право, врешь! Ну где же это видано, чтобы живой человек сос-

ну, дерево ел! Особливо наша барыня. Аль у нее скусу нет? Аль она оглашенная какая, прости господи? Не ври-ка, Фивушка, не смущай народ!..

– Всем будет конец, всем! – захрипела вдруг Фива, как-то загадочно прислушивавшаяся к словам Агаши. – Всем! И ей... будет конец и ей... и она спиной ляжет... как я... Как ткнет – я так и растянулась, голубчики мои... И в глазах помутилось, и дух-то захватило, и заломило-то в спине...

Последние слова старуха произнесла почти рыдая, а потом мгновенно, точно пронзенная, вздрогнула, вскрикнула и бросилась на пол. Ползая по полу, она стонала:

– Простите! Простите меня, православные! Виновна я перед всеми вами, много виновна! Много я зла понаделала, много с вашей волчихой делов понатворила! Аксютку Замухрышкину придушила я... Ваньку, мальчонку Алексинского, засекала я... Я же прибила рубелем и Аксинью Толстогубиху, прачку... И на всех-то я наговаривала, и за всеми-то я следила, все видела, все пронюхивала и про все вашей чертовке откормленной докладывала...

А она меня за это в грудь, в грудь, прямо в грудь... А я и покатила... так и покатила... так и покатила... да уж и встать не могу... так и не могу встать... О-о-о!..

Хрипло и почти шепотом проговорила все это Фива и как-то сразу примолкла, как бы совсем обессиленная. Только мгновениями слышались ее словно бы детские всхлипывания. Потом и всхлипывания эти постепенно стихли. Старуха лежала без движения, свернувшись как собачонка под забором в стужу.

На лицах дворовых изображались во все время, пока говорила старуха, не то страх, не то уныние. Все чужаки, что это все даром не пройдет и что каждому от Салтычихи так или иначе, а достанется. Некоторые открыто ворчали на старуху и требовали, чтобы ее убрали. Иные молча качали головой. «Эк, мол, старуха нагородила что!» Нелюбимая никогда как первая приспешница и исполнительница салтычихинских приказаний, Фива ни у кого не вызвала к себе сожаления. Ее всегда ненавидели и теперь даже с каким-то злорадством выслушивали ее признания. Толкавшийся тут же Сидорка более всех был зол на старуху

за старое и потому первый почел за нужное заговорить во всеуслышание:

– Вот что, братцы, старуха-то говорит такое, что всем нам от того не поздоровится! Знамо дело, старуха врет, как врала и ранее, а потому и следует обо всем том, что она городила тут, доложить барыне!

– Вестимо, следует, – отозвался кто-то из дворовых. – Спины у нас свои... неохота всякому-то спину бог весть из-за чего под кнут подставлять... Сама старуха дурила, сама пусть и расхлебывает дурь-то свою...

Говоривших перебила веселая Агашка:

– Так что ж стоите-то? Бегите докладывайте поскорей, а то, поди, барыня-то и не успеет узнать обо всем этом! Все будет шито да крыто у нас. У нас ведь все народ молчаливый.

– Ты молчанка первая! – заметил с ехидством Сидорка, невзлюбивший с некоторого времени Агашку, за то что она своей привязанностью к Галине как бы отняла у нее часть той любви, которая принадлежала ему, Сидорке.

– Вестимо, молчанка! – отшучивалась деушка. – Все, что знаю, в кошель кладу да хо-

рошего времени жду.

– Не порви кошель-то, коль много туда по-наклала!

– Много не много, а с нас будет, – продолжала болтать Агашка, словно заигрывая с Сидоркой. – Да, пожалуй, хватит и для других. Вот для барыни, к примеру, для Салтычихи. Она ведь у нас барыня добрая.

– Да и добрые тумачи дает тараторкам! – раздался за спиной ее голос Салтычихи, и вслед за тем послышался увесистый шлепок по затылку Агашки.

Никто и не заметил, как вошла в кухню Салтычиха. При виде ее все словно окаменели.

– Где Фивка-то? О чем она тут речь вела? – обратилась ко всем барыня, успевшая уже по-лучить обо всем самые подробные сведения.

Все молчали, но Салтычиха сама увидела лежавшую на полу без движения Фиву.

– Ты, старая карга, вставай-ка! – подошла к Фиве Салтычиха и слегка тронула ее ногой.

Фива с места не тронулась и ничего не от-вечала. Она была уже мертва.

Глава XII

Галя в фаворе

Со смертью Фивы у Салтычихи положительно уже не осталось близкого человека, и она почувствовала тяжелое одиночество. При ней не было даже ее детей, которые, может быть, могли бы составить для нее хоть некоторое утешение. Дети ее находились в Петербурге у родного племянника покойного мужа, Николая Ивановича Салтыкова, и учились там среди роскошной и аристократической обстановки. Салтычиха сама отослала их к нему, очень резонно сообразив, что под ее кровом из детей не только ничего путного не выйдет, но они даже не будут и в безопасности. Кроме того, у Салтычихи при этом был и другой расчет: они ее стесняли и в отношениях с дворовыми, и в отношениях с Тютчевым, за которого она имела намерение выйти все-таки замуж. Изредка она получала о детях известия самого хорошего свойства и совершенно освоилась с тем, что они не при ней и что должны ей быть чужды. Она о них не беспо-

коилась и почти нисколько не жалела их, как не беспокоилась ни о ком и никого не жалела.

Однако в ней начала проявляться небывалая прежде тревога: она раздражалась более обыкновенного, глядела сердито, а иногда впадала в совершенное уныние. Одиночество давало себя чувствовать, и у нее явилась потребность с кем-нибудь так или иначе сблизиться, быть почасти наедине, говорить, болтать, ругаться. Конечно, для этого требовалась женщина.

Перебирая в уме своем дворовых женщин и девушек, она ни одну из них не находила достойной приблизить к себе. Наконец она почему-то остановилась на новой своей горничной, Галине. Красивая девушка с настойчивым и заносчивым характером как-то сама собой сделалась для нее занимательной и любопытной.

«Что это за зверек такой? – рассуждала Салтычиха. – Сразу-то и не разберешь ее. Со всем-таки она на крестьянскую девку не похожа. Кровь-то цыганская, это видно, да уж что-то больно много и такого, что похоже и

на дворянскую кровь. Такая бестия – и ходит-то словно дворяночка, и говорит-то, и глазами-то поводит, шельма, словно бы дворянский выпестыш какой!»

Тут Салтычиха припомнила все подробности, как она впервые увидела девушку в сторожке, как она озлила ее, Салтычиху, своим упорством, как потом она наказала ее, заподозрив, что Тютчев к ней равнодушен. Потом припомнила, как отец ее повесился в лесу.

Как ни зла и ни бесчувственна была Салтычиха, но она почему-то в это время осознала всю неправоту свою перед девушкой, и – не загадка ли сердце человеческое! – в душе грозной барыни зародилось, хотя и смутно, чувство какой-то привязанности к девушке-сироте.

Сначала чувство это показалось Салтычихе забавным и смешным, и она несколько раз вскрикнула: «Ай, дура! Ай, баба дура, Дарья! За девчонкой за дворовой бегать готова!» Но потом по некотором размышлении почла за необходимое приблизить к себе Галину, решив таким образом: «Девка она разумная,

рассудительная, недотрога-девка, а потому она и такая, которая гонор свой имеет, а такие завсегда любят, чтоб на них обращали внимание, тешили их нрав, и таких легче всего подкупить и сделать их способными на все. Окромя того, она еще девка молодая, и из нее можно повыжать всякого соку много: и малинового, и редечного, и капустного...»

В тот же день, когда это было решено, Салтычиха как бы ненароком заметила Галине, когда та что-то подавала на стол:

– Ай девчура! Ай разумная девчура! Спасибо!

Галина подняла на Салтычиху глаза и, молча стоя, ждала, что за этим ласковым вступлением последует непременно какая-нибудь и за что-нибудь расправа в том вкусе барыни, к которому девушка успела уже и приглядеться и даже привыкнуть.

Но этого не последовало, и то, о чем далее заговорила Салтычиха, было для девушки и удивительно и странно. Вопреки своему обыкновению никогда и ничего не хвалить, Салтычиха начала припоминать и высчитывать все то хорошее со стороны Галины, о чем

Галина и сама давно уже позабыла. Но странно, все то, о чем Салтычиха припоминала и что хвалила, было верно и было именно так, как она говорила. Это поразило девушку, и она взглянула на свою грозную барыню так, как обыкновенно смотрят дети на того чужого человека, который сделал им совершенно неожиданный подарок. При этом она сомневалась: не шутит ли барыня и не есть ли эта похвала началом чего-нибудь такого, что могла придумать одна только Салтычиха?

Девушка твердо решила ждать, что будет далее. А далее Салтычиха продолжала все в том же роде, веселая и доступная, и под конец позвала портниху и приказала ей в самое короткое время сшить для Галины шелковое платье, так как она, барыня, не желает, чтобы ее лучшая горничная ходила в пестрядине. Тут же приказано было выдать Галине несколько хороших рубашек, две пары козловых башмаков, несколько пар чулок, фартуков, ковровый платок, шелковую косынку и даже пару коралловых серег.

Отпуская Галину к себе в каморку, Салтычиха приказала, чтобы она пришла к ней ве-

чером во всем новом, и поцеловала ее в лоб.

Вся дворня салтычихинского дома пришла по этому поводу в неописанное изумление. Никогда и ничего подобного с Салтычихой не бывало. Правда, Салтычиха вовсе не была скупа, она скорее была расточительна, хотя лично жила скромно, но чтобы так одевать дворовых девок, как она приказала одеть Галину, – этого с ней никогда, как помнили дворовые, не случалось. Поступок этот со стороны Салтычихи был для дворовых и весьма неожидан и необыкновенно нов. Все они, дворовые, и мужчины и женщины, собрались поглядеть на счастливицу Галину, как на какое-нибудь диво. И сама Галина не понимала, что все это значит и чем все это кончится. Но как женщина она в глубине души не могла не радоваться тому, что делает для нее Салтычиха. Шелковое платье после грубой пестрядины, козловые башмаки после каких то плетущек из покровок, коралловые сережки – все это не могло не подействовать на молодую девушку одуряющим образом, и ей льстило то, что дворовые на нее удивляются, и, конечно, многие, особенно девушки, ей завидуют.

Удивлениям, ахам и всякого рода предположениям не было конца.

Всего больше, разумеется, эта милость Салтычихи к Галине удивила Сидорку и Акима, давнишних ее поклонников. Но каждый из них был удивлен по-своему.

Аким все это истолковал в свою пользу.

«Вестимо, – рассуждал он, – все такое-этакое барыня делает для меня. Я ей слуга верный, раб по гроб жизни, и она хочет наградить меня, так как ей хорошо ведомо, что я взрос у Никанора, Галинку знаю. Она выдаст за меня Галинку. Знать, сама догадалась, что она мне любя. Недаром же она мне много раз говаривала: «Погоди, Акимка, награжу тебя как следует, доволен будешь». Вестимо, наградит!» – решил он под конец и успокоился на этом, вовсе не помышляя о том, как на него смотрит та, которую он хочет назвать своей женой. Покуривая трубочку, он искоса, словно кот, поглядывал при всяком удобном случае на Галину и заранее радовался, что он будет благодетелем такой «королевишны».

Совсем иначе посмотрел на милость барыни к Галине Сидорка. Более умный, более до-

гадливый, чем Аким, он сразу же понял, что все это неспроста и что милость Салтычихи к его Гале имеет свою обратную, темную сторону. Он не верил в бескорыстную доброту Салтычихи и весьма благоразумно догадался, что или барыне скучно, что подле нее нет припешницы и сплетницы, или барыня что-либо хочет выведать у Галины, или же она почему-либо опасается ее. Поэтому он счел за нужное предупредить ее кое о чем.

Улучив минуту, он в тот же день выждал Галину в каком-то темном переходе и остановил ее:

– Галя!

– Ну? – спросила девушка, узнав голос Сидорки и приостанавливаясь и в то же время оглядываясь – нет ли еще кого-нибудь в переходе, где она остановилась. Дом Салтычихи приучил ее быть всегда настороже.

Сидорка схватил девушку за руки:

– Помнишь, Галя... в лесу-то... в лесу-то о чем говорили... на могиле-то Никаноровой?..

– Ну? – произнесла опять девушка, мгновенно припомнив все, о чем намекнул Сидорка.

– Что – ну? – зашептал таинственно Сидорка. – Сама же говорила – помнишь?.. Помнишь, как клялись-то... на могиле-то на Никаноровой?..

– Помню все, Сидорка, все хорошо помню, – отвечала девушка. – Но к чему ты это?

– А к тому, Галя! Не к добру тебе такую милость оказывает Салтычиха. Она не такая, чтоб с бухты-барухты в шелка тебя наряжать, золотые сережки в уши привешивать. Тут есть какой-то подвох.

– Вестимо, есть... сама знаю, что есть... Так что ж из того?

– А то! Надо беречься.

– Вестимо, коль знаю, так и берегусь... и беречься буду...

– Лучше берегись. Салтычиха – птица глазастая.

– На глазастую сову божий день есть – ослепляет, – произнесла с некоторой уверенностью девушка.

– То-то... я ведь так... предостеречь... Тут у нас, при доме, порядки совсем другие. Тут легко влопаться. Всюду глаза, всюду щели.

– Вот одного-то глаза и не стало.

– Фивы-то?

– Фивы.

– Ты гляди, Галя, – начал предупредительно Сидорка, – уж не хочет ли Салтычиха и из тебя сделать для себя Фиву. Помню, она тоже Фиву шелками да сережками задаривала. Это у нас уж, в Троицком, и здесь, в доме. А ранее того, когда Салтычиха девкой еще была, они друг от дружки ни на шаг не отходили, так все вместе и валандались. Страсть, говорят, как она любила Фиву, Салтычиха-то.

– А любила – дело ее.

– А теперь твое дело, Галя.

– Я знаю то.

– Не позабудь. Бывает, Галя, что люди, коль счастье к ним придет, совсем о прежнем забывают.

– Да уж я-то не позабуду, Сидорка... особливо тебя... Эх ты, парень! – вдруг оживилась девушка. – Ты уж и оробел и испужался: надеет, мол, девка шелка да сережки, так уж к ней и не подступайся. Так, что ль?

– Всяко бывает.

– Ну, не робей, парень! Я девка не из таковых. Не залечу, куда не след. Была твоя и бу-

ду! Понял?

Сидорка обхватил девушку за стан.

– Галя! – только и мог произнести он.

В тот же день, к вечеру, десяток расторопных рук успели сшить для Галины платье и одели ее, как куколку. Были надеты и новые козловые башмаки, и коралловые сережки, и обхватила ее шею алая шелковая косыночка.

Диву далась вся дворня, увидев Галину в новом наряде. Она действительно была хороша в нем чересчур и чересчур производила ошеломляющее впечатление на всю дворню без исключения. Особенно были поражены женщины, и завистливым ахам их не было конца.

Не разделял общего изумления один только старый повар по фамилии Качедык, живший у Салтычихи почти без дел на покое. Участие его на кухне требовалось только в исключительных случаях: когда у Салтычихи затевалось что-либо необыкновенное или в большие годовые праздники. Тогда он надевал белый колпак, белый фартук и приступал к делу, поражая всех своим искусством в поваренном деле. Он тоже был крепостной Сал-

тычихи, но был куплен еще покойным ее мужем, Глебом Алексеевичем, у обедневшего гастронома Ш., когда-то жившего богато и роскошно и задававшего пиры на всю Москву. Качедык был первым любимцем Ш., приготавливал для него изумительные блюда, и Ш. продал его Глебу Алексеевичу почти со слезами на глазах. Покойный муж Салтычихи, будучи сам гастрономом, тоже ценил Качедыка, но Салтычиха услуги его сочла лишними, не уступив его, однако, никому. Довольствуясь одной стряпухой, которая только и умела образцово приготавливать щи, похлебку да кашу, Салтычиха держала Качедыка только для формы, как богатая вотчинница, которая во всякое время, не теряя своего достоинства, могла посадить за свой стол любого избалованного кухней богача. Что же касается самого Качедыка, то он сжился со своей ролью, держал себя с дворней несколько свысока, любил читать всем и всякому нравоучения, нюхал втихомолку табак и, кажется, был единственным человеком из дворни, который был Салтычихой вполне доволен.

В то время когда все удивлялись и наряду

и красоте Галины, Качедык тоном человека, не допускающего возражений, тоном человека, которому все уже давно известно и доступно, скептически заметил:

– И ничего-то особенно достойного внимания! У моего прежнего, покойного барина и не такие камеристки и метрески бывали, да и то им никто не удивлялся! А то извольте видеть – одели девчонку в шелковую тряпицу – и все рты поразинули! Девчонка в фаворе – и больше ничего!

Сказав это, он презрительно обернулся, вполне уверенный, что то словцо, которое он произнес, не раскусить никому из дворовых, стоявших возле Галины изумленной толпой.

Глава XIII

Калмычка

Что-то совершенно новое, не сразу поддающееся объяснению свершилось с Салтычихой с тех пор, как она приблизила к себе Галину. Галина стала для нее все: без Галины она не садилась за стол, без Галины не вставала и не ложилась спать, с Галиной прогуливалась и с нею же непременно ездила по своим надобностям в город, и при этом Галина помещалась не где-нибудь на передке или на запятках, а рядом со своей госпожой, и только одно делала, что помогала госпоже выйти из кареты и держала в руках ее ридикюль. Изумленная дворня не понимала, почему такое счастье выпало на долю именно Галины, а не какой-нибудь другой девушки, которых так много было в доме Салтычихи и которые и по праву усердия, и по красоте, да и по уму, пожалуй, могли бы быть замечены и избраны госпожой в приближенные калмычки. (А калмычками, надо заметить, в то время, по моде, назывались в барских домах все те из кре-

постных девушек и женщин, которые так или иначе близки были к господам.) Но так как счастье выпало все-таки на долю Галины, которую все прежде называли не иначе как «леснушкой», всем в доме приходилось примириться с этим и волей-неволей даже заискивать у счастливицы. Все как-то смирились перед Галиной, почувствовали себя и ниже и слабее. Более опытные начали искать с ней сближения, льстили ей, задабривали, видя, какое она имеет влияние на грозную Салтычиху. В числе этих опытных дворовых, и даже одними из первых, были и знакомые нам кучер Аким и заносчивый повар Качедык. Последний до того довел свое заискивание у Галины, что начал даже род какой-то своеобразной войны с остальной дворней, доказывая ей кстати и некстати, что все они, то есть все дворовые, против Галины Никаноровны свиньи, и больше ничего, и что такая калмычка была бы ко двору и у такого вельможи, каким был его прежний, покойный барин, царство ему небесное. Разумеется, дворовые мало обращали внимания на доводы Качедыка, но уважать Галину все-таки уважали и немало

побаивались ее, так как от Галины действительно многое уже стало зависеть, и Галина много уже раз доказала и свое значение и свою силу. Значение это и эту силу она не употребляла, однако, во зло, и многие из дворовых в последнее время были обязаны ей своим спасением и от кнута, и от побоев, и от других истязаний, щедро и немилосердно сыпавшихся прежде на всех провинившихся в чем бы то ни было. В этом отношении Салтычиха часто даже советовалась со своей новой любимицей. Подзовет, заведет речь:

– А Стешку Горюшкину надо бы сегодня в баню...

– Да сегодня, барыня, середка – баню не топим, – хитрит Галина, точно не понимая, о какой бане для Стешки Горюшкиной говорит Салтычиха.

Салтычиха смеется, ее забавляет немудреная наивность. Галины, и она, смеясь, поясняет:

– Аль позабыла, какова наша баня?

Галина недоумевающе и плутовато смотрит на барыню. Она видит, что Салтычиха в хорошем расположении духа и есть надежда,

что Стеша Горюшкина может избежать салтычихинской бани.

– Что глазами-то моргаешь? – продолжает барыня. – Баня-то Стешке надобна! Глянь-ка, как она, чертовка мохнорылая, чинчиры мне выстирала!

Галина знает, что чинчиры (часть тогдашнего женского одеяния) точно выстираны плохо, но все-таки старается как-нибудь оправдать провинившуюся девушку:

– Ах, барыня, барыня! – соболезнующе говорит она. – Вы и не знаете, как она хворала в позапрошлую неделю!

– Кажись, ты, Галька, врешь! – уличает девушку в наивной лжи барыня. – Я сама видела, как она и в позапрошлую, и в прошлую неделю по двору шлюндала да с Киркой Крючконосым под топольками перешептывалась. Так сама своими глазами из окна и видела. Я тогда еще хотела охолодить ее малечко, да как-то запамятовала. Теперь бы ей и за то и за другое.

Галина берет грех на душу: она начинает божиться, что Стешка Горюшкина действительно была больна, что она хотя и ходила,

но ходила через силу, а что касается Кирки Крючконосова, то она, может, с ним советовалась по поводу хворости, так как Кирка Крючконосый давно уже слывет среди всей дворни за знахаря.

Плохо верит Салтычиха словам защитницы, хотя и знает, что Кирка Крючконосый точно знахарь, но все-таки поддается влиянию Галины, защита берет перевес: Стешку Горюшкину барыня прощает, но предупреждает:

– Пусть бережется, шлюха этакая! Попадет еще раз – все припомню, за все разы отдубашу, рубеля не пожалею!

Иногда подобная защита была не у места и могла на виновницу навлечь еще большее наказание. Тогда добрая девушка пускалась на новую хитрость.

– Зинку Смольячку вздуть надо! – решала строго и сурово Салтычиха, хмуро поводя глазами.

По выражению лица Салтычихи Галина ясно видела, что Зинке Смольячке вздутья не избежать. Вероятно, вина Зинки была велика и у барыни давно уже накипела к ней злость

непомерная. Надо было выручать Зинку, иначе Зинка благодаря усердию Акима-кучера и Анфима-дворника не встанет с постели недели две, а то и совсем не встанет никогда.

Галина хищно и злостно сверкает глазами, хмурится, почти задыхается от какого-то обуравляющего ее сердце озлобления (у нее это выходило, как у цыганки, весьма натурально), и она тоже почти натурально коварствовала перед Салтычихой:

– Уж и давно стоит с Зинкой с этой, со Смольячкой, как следует посчитаться! Уж такая-то носотыка – не приведи господь: везде-то она хвостом вертит, везде-то нос свой сует, везде-то языком, что помелом, метет! Не по нутру она мне, барыня... уж вот как хотите, а не по нутру! И сплетница-то, и привередница-то, и девок других смущает всегда и всюду! Уж я бы ее, барыня!.. Попадись она мне только!..

Галина в азарте защиты играет в плохую игру: она подливает масла в огонь. Малейший каприз Салтычихи, малейшая запальчивость – и бедная Зинка Смольячиха считала бы на своем теле не только рубцы, но и кое-

что похуже, ее могли бы снести и на ближайший погост. Но Галина знает, с кем имеет дело, она уже успела изучить нрав Салтычихи, успела уже приноровиться к ней и действует почти наверняка.

Хитрость доброй девушки достигает своей цели. Зинка Смольячиха, минуя Акима-кучера и Анфима-дворника, головой выдается Галине с правом не церемониться с бестией и поступать так, как найдено будет удобным и возможным, в том духе, какой обыкновенно в таких случаях практикуется в доме Салтычихи.

Салтычиха, топая ногой, кричала:

– Бери ее, баранью башку, дурову! Да хорошенько этак... хорошенько... по-своему!..

Под словом «по-своему» Салтычиха разумела то почти зверское чувство, какое нередко проявляется у враждующих женщин и делает из них таких озлобленных фурий, о которых гадливо даже подумать. Салтычиха в этом отношении судила и по себе, и по тем примерам, какие ей случалось встречать в жизни. Она вполне была уверена, что ни Аким-кучер, ни Анфим-дворник не сумеют до-

думаться до тех жестокостей, до каких додумается озлобленная (она была в том уверена) против Зинки Смольячихи Галина. Салтычиха заранее уже радовалась той расправе, какую придумает ее новая любимица. Все говорило в пользу ее предположения: и цыганская, дикая порода Галины, и ее пылкий, озлобленный нрав, и ее хотя и девичьи, но здоровые руки.

Выданная Галине головой Зинка Смольячиха отделялась, конечно, пустяками, но кричала, стонала и жаловалась на все людские и даже показывала какие-то странные и сомнительные пятна на руках и шее. Салтычиху это тешило, и она, похваливая свою любимицу, смеялась от души, вовсе не подозревая, что она хотя и неискусно, но была одурочена молодой девушкой. Само собой разумеется, что подобные проделки были хорошо известны дворовым, и так как дело шло о их собственных спинах, то и держались они, эти проделки, в большой тайне, и всякому, кто бы осмелился донести о них Салтычихе, неминуемо грозила домашняя, может быть, еще более жестокая расправа, чем та, которая совер-

шалась по приказанию Салтычихи. По крайней мере, в таком роде был случай, и девушка, пригрозившая было в какой-то злобе донести обо всем барыне, была так проучена своими же подругами, что закаялась когда-нибудь даже вспоминать о своей угрозе.

Более всех довольна была Галиной Агаша. Девушка эта чуть не молилась на свою подругу, так неожиданно попавшую в фавор к Салтычихе, и много предвидела от этого добра. В этом отношении она не ошибалась. Галина действительно хотела всем добра и в глубине души беспрестанно лелеяла одну и ту же мысль, как бы всех избавить от Салтычихи. Но сделать это было нелегко, да и не по ее уму было бороться с такой госпожой, какова была Салтычиха. Девушка очень хорошо знала, что доносы на Салтычиху не действовали. А между тем только одно это средство и могло быть действенным. Ей об этом твердил и Сидорка, твердила и Агашка. Галина слушала их, соглашалась и все чего-то выжидала. «Подожду, мол, авось Господь и вразумит меня на какое либо дело. Авось и помогу чем либо горемыкам и выведу дела Салтычихи на свет бо-

жий».

Ожидание не обмануло девушку. Как-то раз под вечер Салтычиха призвала Галину, вручила ей письмо и сказала:

– Отвези-ка это моему Тютченьке на Самотеку да подожди ответа. Ответа непременно подожди – он мне надобен, и, я знаю, ты получишь его! – заключила с особенной отчетливостью и выразительностью Салтычиха.

Странно и как-то особенно зло и глухо звучал в это время голос Салтычихи, и что-то зловещее сверкало в ее глазах.

Когда Галина вышла и торопливо пошла по Лубянке, направляясь к Сухаревой башне, ее догнал Сидорка.

– Галя, я знаю, куда ты!.. – остановил ее на мгновение Сидорка. – Ты к барину, к Николу Афанасьичу.

– К нему.

– Пойдем вместе. У меня до барина дело есть.

– Пойдем.

По дороге Сидорка, то и дело осторожно оглядываясь, начал что-то нашептывать Галине, и та слушала его, но ничего не отвеча-

ла. Только по неровной походке ее было заметно, что то, о чем говорил Сидорка, сильно волновало ее, занимало, тревожило. Она по временам даже вздрагивала и на мгновение остановилась, точно желая перевести дух. Почти у самого пруда на Самотеке, когда надо было повернуть в переулок, где в доме Панютиной жил Тютчев, Галина твердо и решительно произнесла:

– Погубим Салтычиху! Так тому и быть!

– Так тому и быть! – повторил Сидорка.

И оба при этом, точно затевая доброе дело, набожно перекрестились на видневшиеся в морозном сумраке золоченые кресты Троицкой митрополичьей церкви.

Глава XIV

Неприятная весть

Давно уже очерствевшее ко всему сердце Салтычихи никогда не было так возбуждено, как в тот вечер, в который она с Галиной отправила к Тютчеву письмо. Она почти с лихорадочным нетерпением ждала ответа, и хотя была уверена, что ответ получит непременно, но какой это будет ответ, в чем он будет состоять, она не знала и не могла догадываться, и потому вопрос этот сильно занимал ее и сильно тревожил.

Невозможные и безрассудные мысли лезли почему-то в голову Салтычихи, и она то и дело вставала со своего тяжелого кожаного кресла и нервно ходила из угла в угол своей громадной комнаты-спальни. Все ей казалось ненавистным и угрюмым – и этот зимний, длинный вечер, и эти полузанесенные снаружи снегом окна, и даже эта комната, к которой она давно уже привыкла и которая осталась неизменной в течение чуть ли не двух десятков лет.

В комнате этой, войдя в дом покойного мужа, она впервые почувствовала, что она в нем полная хозяйка, полная распорядительница всего того, что в нем находится, не исключая даже и самого его владельца, бывшего ее покорного мужа. В этой же самой комнате и на том же самом кожаном кресле, на котором она сидит, он и умер, муж ее, Глеб Алексеевич, нелюбимый ею на закате дней своих почти до ненависти. Смерть нелюбимого мужа не принесла ей, однако, того, чего она ожидала, — жизнь потекла и скучно и однообразно. И вот тогда горячая и суровая натура ее начала находить наслаждение в истязаниях приближенных к ней людей. Она вздурилась, ожесточилась, сама чувствуя это, но и сама же не в силах обуздать свою взбелевшуюся натуру. Появление в ее доме Тютчева несколько успокоило ее, примирило с чем-то, с чем она почему-то считала нужным враждовать и драться. Тютчева не стало, и не стало по ее же вине. Не стало потом и Фивы, к которой она так привыкла и с которой так прекрасно провела два года в малиновом домике на Сивцевом Вражке. Воспоминания

детства и юности повеяли своим благотворным влиянием на ожесточенную против кого-то и чего-то душу Салтычихи, проскользнули какой-то сверкающей струйкой и чуть было не вызвали слез из ее когда-то красивых, а теперь злых и подозрительных глаз. Но это было только мгновение. Салтычиха, как бы что-то вспомнив, сильно стукнула кулаком по столу, закричав:

– Да что же нейдет эта черепаха Галька?!

Гальке в это время было вовсе не до Салтычихи. Девушка в это время сидела в уютной, теплой комнатке Николая Афанасьевича Тютчева и внимательно слушала то, что он говорил.

Молодой инженер медленно ходил в своей любимой венгерке по комнатке и так же медленно и наставительно говорил, часто останавливая глаза на сидевшей, потупившись, Галине.

– Сам я не могу-с, – говорил Тютчев. – Мне теперь-то нет резона заводить с Салтычихой дела: у меня невеста и я скоро еду в ее орловскую вотчину. Не могу-с. А вы, ее холопы, вы можете. Вам сие дело статочное, допустимое.

Галина подняла голову.

– Да ведь подавали – ничего не выходило, кроме того что доносчиков били и ссылали в Сибирь.

– Без того не можно-с, так уж давно заведено: холопы на господ доносить не могут-с, и теперешние законы не допускают показаний холопов на господ. Не допускают-с.

– Так тогда как же? – спросила недоумевающе Галина.

– Кое-как можно-с, – подумав, начал Тютчев, медленнее заходя в комнату. – Можно-с... и даже оченно-с. Как тебе ведомо, ноне с двадцать шестого декабря прошедшего года царит император Петр Феодорович Третий. Сей достойный внук великого Петра (Тютчев произнес это многозначительно) весьма добр к своим подданным и весьма жалостлив: он отменил уже Тайных розыскных дел канцелярию, отменил также в войсках бесчестные наказания батогами и кошками и сыщикам и всяким другим фискалам указал не быть. Может статья, он и вас, холопов, взыщет своей милостью. Подавайте самому императору, в Питер. Подавайте-с.

– Да разве это можно – самому императору?! – изумленно и с некоторым испугом спросила Галина.

– Можно-с. Говорят, много доступен император и много добр. Оченно-с много добр.

– Так как же это, барин? Научите! Скажите! Мы люди темные.

– Пусть кто-нибудь едет туда, в Питер-с. Беспременно ехать надобно-с, и с просьбой-с, и за подписью всех-с, и чтоб все это досконально, верно, без утайки и без клеветы-с. Особенно без клеветы-с.

– Ах, уж, барин, какая клевета! – воскликнула Галина. – Чай, сами знаете, видели, какая она, Салтычиха-то наша, наша-то барыня грозная!

– Потому и говорю, что знаю. А что касемо доноса: так и сделайте, как говорю.

– Да кто ж нам напишет-то его, донос-то этот?

– Напишет всякой. Кто угодно напишет-с. А я сам не могу-с: мне несподручно теперь-то с ней дела заводить. Пусть пишет, кто раньше писал.

– Да раньше у нас на дворе, говорят, Ер-

мил-дворовый писал. Грамотный он был.

– Пусть Ермил и теперь пишет.

– Нету Ермила: Салтычиха его давно уже со свету сжила. Помер Ермил.

Тютчев помолчал, походил, потом, видимо принимая участие во всем том, что так сильно занимало девушку, заговорил:

– Впрочем, на примете у меня такой человек есть. Приходи-ка через денек-другой, вот о такую же пору, может, что и надумаю для вас. А сам я не могу-с, мне теперь не до того-с. Прощай, однако, любезная, мне недосуг, – проговорил Тютчев в заключение, заслышав в соседней комнате неопределенный кашель.

Галина торопливо поднялась.

– Прощения просим, барин! – произнесла она с низким поклоном и тотчас же вышла.

У ворот ожидал ее Сидорка, которого Тютчев не счел за нужное впустить к себе.

– Ну что? – спросил он.

– Обещал, – коротко отвечала Галина.

– Обещания мало, – сомнительно заметил Сидорка. – Он и ране мне в Троицком еще пообещал кое-что, когда я его из погребицы выпустил, а что-то из этих обещанков ничего не

вышло. Да и у тебя тогда, в сторожке ночуя, городил и то, и се, и такое-этакое. Барин болтун!

– Где ж нам найти лучше-то?

– Найдем! – самоуверенно тряхнул головой

Сидорка.

– Где ж это?

– Да он самый, Никол Афанасьич-то, по нашей дудке запляшет. Право слово.

– Эк ты, парень, говорить-то востер! За углом – рублем, а до дела пришлось – повесил нос!

– Зачем вешать! – не унывал Сидорка. – Я уж, у ворот-то стоя, кой-что обдумал. Право слово!

– Ну?

– Не ну, а стой! Что тебе говорил барин-то... касаемо нашей Салтычихи-то?.. Что говорил?..

– Говорил мало. Говорил, мол, что я зла не помню, а что касаемо старого, то пусть позабудет, я-де теперь жених и прочее такое. Пусть, мол, позабудет.

– Ну а ты скажи совсем другое, и скажи вот что...

Сидорка наклонился почти к самому уху Галины и начал что-то шепотом передавать ей. Та шла и слушала.

Сомнения Сидорки относительно Тютчева тоже были весьма основательны.

Как только Галина вышла, Тютчев торопливо вошел в соседнюю комнату. Там ждала его, сидя у маленького столика при двух восковых свечах, тоже очень маленькая девушка, на вид лет шестнадцати, бледная и болезненная. Это была невеста Тютчева, Анастасия Егоровна Панютина, довольно богатая орловская помещица.

Встретила она своего жениха совсем-таки неласково и с заметной брезгливостью начала пенять, что он принимает у себя всяких дворовых девок и делает им всякие обещания.

– Того не должно быть! – сказала она пискливым утомительным голосом, в нос, растягивая каждое слово, и в этом пискливом «не должно быть» слышалось столько властного и презрительного, что за бедного Тютчева становилось грустно.

По-видимому, молодой человек, как гово-

рится, попал из огня да в полымя.

Тютчев перед своей невестой оправдывался тем, что это весьма необходимо, это имеет некоторую связь с его прошлой жизнью и необходимо для настоящего, что эта дворовая девушка спасла его однажды от самой верной гибели, и потому он должен был принять ее и выслушать.

– Ну дал бы золотой и выгнал! – пропищала Панютина.

– Того нельзя было учинить, – ответил Тютчев.

Панютина презрительно улыбнулась, причем ее маленькое личико, бестолково утыканное мушками, превратилось в какое-то печеное яблоко.

– Нельзя?!

Она некрасиво повела плечами и тонким-претонким пальцем правой руки дотронулась для чего-то до своих штопором завитых висков, а потом до флеровой беседочки (род тогдашней домашней девичьей шляпы) на голове, на которой целый день «месили тесто», как выражался тогда народ о напмаженных и напудренных головах.

Тютчев мялся.

– Ну да, ну да, я знаю, что тебе для меня всего нельзя, – продолжала пиццать Панютина. – Я знаю, от кого эта девка – от Дарьи Николаевны Салтыковой. Я кое-что слыхала про эту госпожу. Про нее бог весть что говорят, но я этому не верю, все вранье и ложь. Говорят, что она жестоко обращается со своими крепостными. Я и этому не верю, и это все вранье и ложь.

Тут говорившая начала несколько задыхаться, почему Тютчев нашел необходимым ее успокоить:

– Анастаси, будет... довольно... успокойся...

– Не могу, я не могу! – уже почти стонала и охала Панютина. – Эти дворовые, я их знаю, на все пойдут, они и на доносы готовы.

Тютчева передернуло.

«Неужели она все слыхала? – подумал он. – Ежели слыхала – быть сегодня домашней передряге».

– Да-да, готовы! Уж и эта девка не затем ли приходила? И уж не просила ли она тебя донос писать? Да-да, говори! Говори, я требую! Я слыхала, салтычихинские не раз донос в Юс-

тиц-коллегию подавали. Да-да!

– Анастаси! Анастаси! – как-то бессмысленно только и произносил молодой человек и был весьма рад, что и Анастаси ничего, вероятно, не слышала или не поняла, о чем он говорил с Галиной.

– Говори же! Успокой меня! – настаивала Панютина, все хватаясь за свои штопоры на висках.

Тютчев успокаивал свою невесту и наконец преуспел в этом, солгав, что девушка приходила просить благодарности, и что он ее поблагодарил, и что она больше никогда не придет к нему.

– Так бы ты и говорил, Николай, так бы и говорил! – томно, как-то успокоившись сразу, заключила Панютина, подавая Тютчеву для поцелуя свою маленькую ручку.

Тютчев поцеловал поданную руку и решил не пускать к себе более Галину ни в коем случае.

«Пусть возьмется как хотят, у меня и своих дел пропасть. Еще, пожалуй, с невестой рассорят. А сие для меня не резон!»

И он так же успокоился, как и его невеста,

надеясь на спокойствие и в будущем. Он по-своему все-таки был счастлив.

Но над этим счастьем его вдруг нависла туча в образе той же самой Салтычихи, от которой он с помощью Сидорки так благополучно бежал.

Поздно с ответом от Тютчева пришла к Салтычихе Галина.

– Ну, что пес сказал-то? Где цидулка? – встретила Салтычиха Галину вопросом, уже лежа в постели.

– Цидулки нет... а велел сказать...

Галина замялась, переступая с ноги на ногу.

– Что велел сказать?

– Ах, страшно и вымолвить, барыня!

Салтычиха поднялась на постели:

– Ври, что сказал? Не бойся!

Галина торопливо начала рассказывать, как она вошла в дом, как ее принял Тютчев, как она передала ему письмо, а затем весьма смело брякнула:

– «А пошли ты, – сказал он, прочитав письмо-то, – пошли ты, говорит, ее, свою бары-

ню-то, к черту на рога! Пусть она на них и околеет, окаянная!»

Салтычиха как полулежала на постели, так и застыла в том положении. Застыла на месте и Галина. «Господи, не далеко ли я зашла?» – только и мелькнуло в ее голове.

Минут пять ничего не говорила Салтычиха. Только пыхтела и что-то рвала под одеялом. Наконец она глухо, точно не своим голосом, спросила:

– А ту... сирену-то его... видела?.. Какова она?..

– Нету... не видала...

– Ну так она меня увидит, бестия! – произнесла так же глухо Салтычиха и обернулась лицом к стене.

Глава XV

Ночное нападение

В безлунную, белесоватую зимнюю ночь, когда особенно ярко на северо-западе блестел косо́й четырехугольник созвездия Ориона и когда вся ночь, невзирая на стужу, очаровывала своей тишиной и неподвижностью, из ворот дома Салтычихи, с Лубянки, осторожно выдвинулись большие, широкие сани в одну лошадь и сперва медленно, а потом быстрее двинулись по направлению к Сухаревой башне.

В санях отчетливо виднелись три сидевшие в них человеческие фигуры, из которых две помещались впереди, а одна на высоком ковровом сиденье сзади.

В ту же самую ночь, но только несколько ранее, человек в овчинном тулупе и овчинной шапке, быстро шел, почти бежал по тому же самому направлению, по которому двигались сани, и, видимо, куда-то торопился поспеть вовремя.

Он и попал вовремя туда, куда шел.

Старая, лохматая дворняжка хрипло и медленно залаяла за воротами дома Панютиной, на Самотеке, когда к ней приблизился овчинный тулуп и торопливо постучал в кольцо калитки.

Калитку отперли не сразу. Сперва в доме засветился огонек, потом этот огонек начал быстро мелькать в окнах дома, а затем уже к калитке со двора кто-то медленно подошел и спросил:

– Кто стучит? Чево надоть?

– Отоприте скорее... надо... – сдержанным голосом проговорил овчинный тулуп.

– Кого надо?.. Да ты кто?.. – спрашивал неторопливо мужской сонный голос, не отпирая калитки.

– Барина надо... Николая Афанасьича...

– Да ты кто? Скажись...

– Сидорка я...

– Какой Сидорка? Чей?.. Может, лихие дела ведаешь, разбоишь?.. – допытывался сонный голос.

Сидорку озлило это:

– Сам не разбоишь ли... черт! Несуразная башка!

– А ты языком-то калитки не прошибай, – в свою очередь обиделся невольный собеседник Сидорки, – неравно оцарапаешь!

При этом голос Сидоркиного собеседника из сонного как-то вдруг превратился в добрый и отчетливый. Такова уж сила брани на русского человека – она живо расшевелит его и приободрит.

Сидорка настаивал:

– Отпирай же, говорю тебе!.. Не то беда будет! После беды не оберетесь!..

Видимо, слова эти подействовали вразумительно на несговорчивого блюстителя двора госпожи Панютиной – он начал отпирать калитку, гремя какими-то железными кольцами и при этом предупреждая:

– Я отопру... только ты смотри... у меня у самого топор! Так и шарахну, коли что, так и знай... топор у меня острый... Слышишь? Вот он...

И Сидорка в самом деле услышал лязг обо что-то деревянное.

– Да отпирай! – проговорил Сидорка нетерпеливо.

Калитка распахнулась. Отворив ее, чело-

век, без шапки, в полушубке внакидку, остался в нескольких шагах от ворот с топором в руках. Видимо, при малейшем подозрительном движении Сидорки он готов был размозжить ему голову.

Но подозрительных движений Сидорка не делал. Он только попросил:

– Барина, поскорее барина! Не то будет поздно...

Но барин сам появился на крылечке в халате на беличьем меху. Тютчев сразу по голосу узнал Сидорку.

– Чего тебе, братец? Поди сюда.

Сидорка быстро подбежал к Тютчеву и немедленно вполголоса заговорил:

– К вам, барин, Салтычиха жалует: не то поджечь ваш дом хочет, не то убить...

Тютчев всполошился, взмахнув на Сидорку глазами.

– Что?.. Что?.. Что такое?.. – спросил он тревожно.

– Ей-богу, правда... Так прямо сюда, к вам, и катит... С ней кучер и дворник... и топоры с собой взяли, и ножи, и пистолеты, и паклю...

– Все ты врешь, братец! – вскричал Тютчев,

чувствуя, однако, что Сидорка говорит что-то похожее на правду и что от Салтычихи при ее озлоблении на него, на Тютчева, всего ожидать можно.

Человек далеко не из храбрых, Тютчев тут же чуть не растерялся, перетрусив не на шутку, и у него в голове начал делаться какой-то туман. Но тот же Сидорка надоумил его:

– Вы бы, барин, чем кричать, приготовились лучше... А я, видит бог, не вру... Народ у вас есть... Тоже за топоры да за ножи... А полицейской команды теперь не доищетесь... Да и поздно будет... Покуда вы за командой пошлете, она успеет весь ваш дом разнести... Вот истинный Бог!..

– Справедливо, весьма справедливо! – согласился с ним Тютчев, мало что соображая, но тут же, однако, распорядился: – Кирилл! Ворота на запор! Скажи Максиму, чтоб взял топор... разбуди и его... Да возьми топор и сам...

– Уж он у меня есть, – отозвался Кирилл, тот самый мужик, который отпер Сидорке калитку.

– Хорошо... держи его наготове... – продол-

жал возбужденно Тютчев. – А самое главное – ворота на запор... да покрепче... да самим не дремать... чтоб в оба глаза...

– Ладно! – произнес Кирилл и немедленно завожился у калитки, что-то передвигая и что-то усердно дергая своими здоровенными ручищами.

– Постой, постой! – всполошился Сидорка. – А меня-то куда ж? Ведь мне домой бежать надо, а то меня Салтычиха сегодня ж в ночь в могилу вгонит: так прямо в могилу и ложись. Выпустите меня-то, барин, мне домой надо.

– Справедливо, весьма справедливо, – снова согласился Тютчев, – ты можешь бежать, братец. А ежели все тобою донесенное справедливо, я тебя и сам награжу, и сообщу о том по начальству. Тебя начальство не забудет.

– Много благодарны, сударь, – поклонился Сидорка, сняв шапку. – Всегда на вашу милость в надежде...

Сидорка был уже за воротами, и ворота дома Панютиной были уже на крепком запоре, охраняемые двумя мужиками, Кириллом и Максимом, когда в некотором отдалении от дома, на берегу Самотекского пруда, остано-

вились сани Салтычихи.

Сидорка, тут же спрятавшийся за углом какого-то дома, видел, как из саней вылезли Аким и Анфим, и слышал отчетливо сказанные слова Салтычихой:

– Да не жалеть пакли-то, молодцы, побольше под крышу-то. А коли что – и ножи в ход... Я тут пообожду малость.

Аким пробурчал что-то в ответ, чего Сидорка не расслышал, хотя и чутко прислушивался, и оба приспешника Салтычихи осторожно, стороной, у заборов начали пробираться в гору от пруда к дому Панютиной.

«Пошли наши волки трести лошадиные холки, – начал сам с собой рассуждать Сидорка, наблюдая за удалявшимися фигурами Акима и Анфима. – Только поздновато будет! Волков и примут по-волчьи, тоже гостинчик готов. Недарма же я взбулгачил барина. Перепалка будет!»

И Сидорка радовался своему делу, то есть тому, что вовремя предупредил о грозящей опасности Тютчева.

На это у Сидорки были свои причины, о которых он долго думал и раскидывал своим

умом-разумом.

Неглупый от природы малый, даже по-своему и весьма умный и весьма рассудительный, Сидорка давно уже решил, что самое лучшее, что он может придумать, это влиять на свою барыню через других и тем добиться того, чего желали и лично он, и все дворовые Салтычихи. У него явился какой-то род личной ненависти к барыне, и ему всеми силами хотелось добиться ее гибели, хотя он почти и не верил в эту возможность, соразмеряя грозные силы Салтычихи и свои ничтожные мужицкие.

Во всем этом почему-то главную роль играла любовь Сидорки к Галине, хотя любви его никто не препятствовал, не исключая и самой Салтычихи, не знавшей о ней ничего, и Галина отвечала ему своей самой искренней девичьей взаимностью. Но Сидорке казалось почему-то, что его счастьем всегда будет преграда в лице Салтычихи, и этот взгляд особенно усилился в нем с тех пор, как Салтычиха приблизила к себе Галину, сделав ее своей любимицей.

«Отобьет она у меня Гальку, – не раз задумывался Сидорка.

мывался он, – зазнается Галька, зафордыбачит она – и тогда прощай, Сидорка, лихая голова твоя, не увидишь ты Гальки как ушей своих...»

А лихой парень слишком уж был привязан к девушке, чтобы потерять ее так запросто.

«Буду мутить всех!» – решил как-то Сидорка, долго и упорно ворочаясь в одну глухую ночь на своей жесткой постели, и принялся за свое дело.

С этой целью он как умел возбуждал дворовых, распускал при всяком удобном случае везде и всюду самые невероятные, даже нелепые слухи про Салтычиху, в особенности же настраивал против Салтычихи свою возлюбленную, которая, как влюбленная, невольно стала как-то глядеть на все глазами любимого человека. Он же, Сидорка, подучил Галину передать Салтычихе от имени Тютчева и то, чего тот и не думал никогда отвечать Салтычихе на ее письмо. Расчет Сидорки оказался верным: Салтычиха взбеленилась и решила на то, зачем она теперь и приехала на Самотеку, к дому Панютиной. У Сидорки при этом был еще и другой расчет. Озлившийся Тютчев, а

то, может, и сама Панютинна, как полагал Сидорка, подадут на Салтычиху донос по поводу поджога и грабежа, и тогда... Тут уж фантазия Сидорки принимала самые невероятные формы, и уж бог весть чего не представлял себе этот один из обыкновеннейших дворовых Салтычихи. А в конце концов всегда утешал себя: «Э, да ведь копна мыши не диво! Нет-нет да и подгрызет мышка копну-то! Копна-то на-земь и грохнетя, и рассыплется, и не станет копны никакой...»

Между тем та копна, которую мышка в лице Сидорки намеревалась подгрызть, сидела спокойно в санях и ожидала исполнения своего приказанья.

Исполнение, однако, что-то затянулось, и мгновениями Сидорке казалось, что Салтычиха нетерпеливо ерзает по сиденью, точно собираясь соскочить с него. В эти мгновения и Сидорка чувствовал что-то такое, отчего у него прилиwała кровь к голове, сердце усиленно билось, а кто-то точно нашептывал ему на ухо: «Покончи... самое подходящее время... вдругорядь такого случая не выдастся... никто не увидит, никто не узнает...» Голос был

слишком настойчив, слишком назойлив, и Сидорка соглашался с ним. «И то! – бормотал он чуть не вслух, сжимая что-то в руках под тулупом и в то же время сильно вздрагивая не то от холода, не то от чего-то другого. – Один конец и ей и мне... Теперь ночь, она в чужом месте... Подкрадусь сзади – полосну ножом – и все, и конец, и будет с нее, и не приедет домой... Скажут, Аким аль Анфим немой... а я в стороне, я ни при чем... А то и разбойники, скажут... Зачем, мол, к прудам попала?.. Что надо?.. Поищут-поищут, да и бросят... А тогда я Галю за рога: стой, мол, девка, ты моя, теперь уж Салтычиха нам не помеха... распоясывай, значит, кафтан на все ремни!..»

При мысли о Гале Сидорку всего даже как-то передернуло. Тут же мгновенно приплелось и имя кучера Акима. Соперник предстал теперь перед Сидоркой во всей своей мрачной неприступности. Зачем он здесь? Зачем он пошел на такое дело? Наверное, хочет выслужиться перед Салтычихой и потом выпросить у нее за услугу Галину.

«Не отдам! не отдам!» – прошептал настой-

чиво и зло Сидорка, и в это время его всего с ног до головы охватил какой-то жгучий порыв, к сердцу хлынуло какое-то жгучее озлобление, и весь он дрожал, почти шатаясь, и в голове его шумело, и в глазах завертелись необыкновенно яркие огненные круги, и ему почуялось даже, что возле него запахло кровью...

Подобного чувства, подобного состояния Сидорка не испытывал никогда. Оно ошеломило его совершенно. Не помня себя, мало перед собой что видя, мало что разбирая, кроме спокойно сидевшей в санях фигуры Салтычихи, он вдруг порывисто шагнул из-за своего угла и хотел было просто бежать по направлению, где находилась в санях Салтычиха, но довольно яркий, хотя и бледно-синий свет от лежавшего грудями вокруг снега как то сразу охолодил порыв Сидорки. Он остановился даже и огляделся вокруг. Ночь была тиха, и звезды по-прежнему ярко мерцали на небе. Фигура его с короткой тенью вправо ярко выделялась среди массы снега. Из боязни, чтобы не заметила его Салтычиха, он чуть было опять не спрятался за угол и уж было шагнул

назад с этой целью, но что-то как будто толкнуло его сзади, кто-то как будто устыдил его чем-то, и он со смелостью, сперва выпрямившись, потом согнувшись, медленно, но дрожащей, однако, походкой начал подкрадываться к Салтычихе сзади. Правую руку его под тулупом жгло что-то, что-то где-то царапало, что-то где-то дергало – дергало очень неловко и очень больно, – но он подкрадывался и подкрадывался, словно это было страшно необходимо, словно кто-то заставлял его двигаться неотвратно, неизбежно.

Салтычиха по-прежнему сидела в санях спокойно и тихо, и так же тихо и спокойно было вокруг в эту зимнюю, морозную ночь, немую свидетельницу человеческих грехов и раздоров, и беспрерывных, и вечно озлобленных...

Глава XVI

На Самотеке

Не всегда людям удается то, что они тщатель- ностью обдумывают, чаще всего тщатель- но обдуманное бывает неудачливее необду- манного. Судьба везде любит играть челове- чеством и его неудержимыми страстями не в его пользу, не по его расчетам.

В ту зимнюю ночь, в которую происходило одно из действий нашего повествования, все было не в пользу и не по расчетам тех, кто ожидал от всего задуманного какой-то поль- зы и кое на что рассчитывал.

Все произошло совершенно противно то- му, как было обдуманно, совершенно не ожи- данно и совершенно в другом роде.

В то самое мгновение, когда Сидорка по- чти совсем уже приблизился к Салтычихе и его рука с безумной бессознательностью вы- таскивала что-то из-под тулупа, над прудом, с улицы, поднимавшейся в гору, раздались сильные выкрики.

Кто-то кричал отчаянно и хрипло:

– Грабят!.. Поджигают!.. Караул!

Затем крик как-то сразу смолк. Но крика этого было достаточно, для того чтобы Сидорка мгновенно пришел в себя и понял бессмысленность того поступка, на который он бои- весть из-за чего решился. Нож выскользнул из его рук, и он сам застыл за спиной Салтычихи не то в изумлении, не то в испуге.

Раздавшийся с горы крик встревожил и лошадь: стоявшая доселе тихо, она вдруг зафыркала, затопала передними ногами.

– Тише ты!.. Аль кровь почуяла!.. – дернула Салтычиха вожжей.

Привстала и начала прислушиваться.

– Чего они там!.. Аль не сумели!.. – заворчала она спокойным голосом, точно дело шло о рубке какой-нибудь, капусты, а не о покушении на жизнь человеческую.

– Вот, пошли дураков... Верно, этот Анфим, глухая собака... всегда что-нибудь испакостит, чертов выродок..

Все это Сидорка слышал, хотя и стоял за спиной Салтычихи, как говорится, ни жив ни мертв. На него нашло какое-то тупое одурение, и обернись в это время Салтычиха к

нему лицом, он упал бы перед ней на колени и во всем повинился бы.

«Бежать... бежать... недоброе тут будет...» – только и мелькало что-то неопределенно в его голове. Но он не бежал, не трогался даже с места, как будто чего-то ожидая, и удивительно было, что чуткая всюду и везде Салтычиха не чуяла за своей спиной присутствия постороннего человека.

Между тем тишина ночи снова нарушилась криками, но уже более сильными и более отчаянными. Кричал, по-видимому, человек, которого пришибли или ранили. Крик был так страшен, был полон такого ужаса, что Сидорка смертельно дрогнул и, как подстреленный волк, шарахнулся от Салтычихи в сторону.

Салтычиха вдруг привскочила на санях.

– Кто тут?.. – гаркнула она своим властным голосом, повернув высоко поднятое лицо в ту сторону, в которую шарахнулся Сидорка.

Остановившись в нескольких шагах, испуганный, почти обезумевший, Сидорка молчал, бессознательно кутаясь все более и более в свой тулуп.

– Отвечай!.. А не то... – как-то глухо и как-то особенно мрачно прозвучал голос Салтычихи в морозном воздухе.

Сидорка молчал, ежился, хотел подать голос, но язык у него совсем отнялся. Что-то тяжелое подступало к его груди, а голова горела и кружилась до того, что он еле держался на ногах...

– А, подосланный... от Тютчева!.. – зашипела уже Салтычиха, продолжая стоять в санях. – Так вот же тебе, дворовый пес... вот!.. прими-ка от меня ему ответ, твоему барину!..

Шипучий, резкий звук пистолетного выстрела коротко пронесся в воздухе, сперва щелкнув и сверкнув несколькими искорками.

Сидорка повалился на снег и тихо застыл, а потом что-то забормотал.

Салтычиха прислушалась.

– Голос как бы Сидоркин... зачем он тут?..

Она хотела было встать по любопытству, но в это время с горы слышались шаги бегущих людей и крики:

– Держи!.. Лови!.. Эвона, побегли!.. Поджигатели!.. грабители!.. караул!..

Впереди бежали Аким и Анфим. Сзади Кирилл с Кузьмой, дворовые Панютиной, с топорами в руках. Кричали двое последних.

– Сплоховали, черти! – проворчала Салтычиха, а потом вдруг крикнула: – Садись!... скорее!..

Оба, Аким и Анфим, с маху попали в сани. Аким, видимо раненный куда-то, машинально схватил вожжи и круто повернул лошадь. Та порывисто взяла с места.

Кирилл и Кузьма остановились. Их поразило и то, что откуда-то появились сани с бабой, и то, что лежит на снегу какой-то человек. Они даже перестали кричать и переглянулись между собой, недоумевая и пугаясь.

– Убит кто-то... аль что... – сомнительно проговорил Кирилл, косясь на лежащего без движения Сидорку.

– И то... кажись, и кровь вон... вишь... – подтвердил Кузьма и тоже покосился на Сидорку.

– А ведь энти-то, грабители-то, ау! – догадался Кирилл и почесался.

– Ау, брат! – согласился с ним и Кузьма и тоже почесался.

Оба замолчали.

А беглецов между тем и след простыл.

Глава XVII

Донос

В описываемую нами эпоху (середина XVIII столетия) открытые и смелые грабежи и убийства были делом почти заурядным. Не проходило недели, чтобы по Москве не носились слухи о каком-нибудь наглом грабеже или убийстве. Следствия по таким делам производились строго, пускалась в ход и практиковавшаяся еще тогда почти во всей своей силе пытка, но это нисколько не устрашало грабителей и убийц. Они открыто целыми шайками проживали по окраинам Москвы и даже нередко открыто сопротивлялись ловившим их полицейским командам. Поэтому слухи о грабежах и убийствах никогда никого особенно не смущали, на эти дела смотрели как на дела весьма обыкновенные, и только из чувства самосохранения всякий старался, насколько мог, и запереть свои ворота и ставни на крепкий запор, и запрятать подальше свои

сундуки и скрины со всяким добром и скарбом.

Слух о нападении каких-то неведомых злоумышленников на дом дворянки Анастасии Панютиной разнесся по Москве на другой день весьма быстро. Этому способствовали два обстоятельства: то, что инженер Николай Афанасьевич Тютчев поднял о грабеже всюду по Москве тревогу, указывая даже на грабителей, и то, что вблизи пруда, на улице, нашли труп убитого «пороховым оружием» дворового человека помещицы Дарьи Салтыковой, по имени Сидор Лихарев. В тот же день инженер Тютчев сообщил по начальству о нападении на дом его невесты, Анастасии Панютиной, дворовых людей помещицы Дарьи Николаевы Салтыковой, а на саму Салтыкову подал в Юстиц-коллегию донос в том, что она, Салтыкова, «издавна покушаясь на его особы жизнь, тем самым претит его служебным делам». Прося «защиты и ограды» от столь «беспокойной в жизни» помещицы, Тютчев вместе с тем сообщал и о том, что «помещица она и касаясь своих крепостных людей неправо и не по закону поступает: бьет их по-

леньями, скалкой, рубелем, опаливает на голове волосы, обдаёт кипятком, щиплет уши припекательными щипцами, засекает до смерти и хоронит убитых тайно, без должного христианского обряда, в лесу, по глухим местам, и подает явочные прошения, что будто люди те неведомо куда бежали, и просит их отыскивать». Затем он прибавлял, что и дворовые Салтыковой неоднократно уже обращались куда следует с жалобами на ее к ним жестокости.

Из Юстиц-коллегии донос Тютчева для негласного расследования был передан начальнику полицейской команды, который прежде всего и явился в дом Панютиной. Никаких признаков грабежа начальник в доме Панютиной не нашел, но забрал с собой большой клоч пакли и двух мужиков, Кирилла и Кузьму. Был поднят также на улице и убитый Сидорка. По осмотре убитого и по засвидетельствованию надлежащим образом, что оный человек умер от «порохового оружия», тело было отдано для хранения в амбары убогого дома при церкви Воздвижения, которая известна ныне под именем церкви Святого

Иоанна Воина на Божедомке.

По инструкции начальник полицейской команды должен был отправиться для расследования дела и в дом Салтыковой. Туда отправляться он почему-то медлил, все доискиваясь чего-то в доме Панютиной, которая от испуга слегла в постель и требовала, чтобы Тютчев немедленно вывез ее из Москвы. Но Тютчев сделать этого не мог: его уже обязали в Юстиц-коллегии подпиской о невыезде из Москвы. Панютина злилась, стонала, охала, бранила окружавшую ее дом полицейскую команду. Но более всего досталось от нее самому виновнику всей этой кутерьмы, Тютчеву. При виде нагрянувшей в дом полицейской команды Тютчев и сам уже пожалел о том, что поторопился с доносом. Но дело было уже сделано, надо было продолжать начатое. Догадавшись поговорить наедине с начальником команды, поручиком по чину и человеком довольно стоворчивым, Тютчев к вечеру избавился от полицейской команды и мог хоть этим утешить свою несколько взволнованную невесту. Но, ходя по дому, обозленный всем происшедшим, он твердил:

– Докажу... все докажу... разорю твое гнездо окаянное...

Тем временем в гнезде окаянном все было тихо, спокойно, и, странное дело, никто еще в доме не знал о том, что было уже известно почти всей Москве. Дворне только известно было, что Аким-кучер по какому-то поручению барыни рано утром отправился в дальнюю вотчину, за Вологду, а Сидорка Лихарев не ночевал дома и, вероятно, где-нибудь загулял. По этому поводу дворовые рассуждали, здорово или не здорово достанется Сидорке и кто именно после Акима-кучера возьмет на себя роль «крестника».

Одна только Галина была смущена отсутствием Сидорки: любящее сердце ее подсказывало что-то недоброе. Она втихомолку расспрашивала, когда именно и куда именно ушел Сидорка, но добиться толку ни от кого не могла, никто не знал, куда и когда ушел Сидорка.

Сама барыня проснулась поздно, долго лежала в постели и долго беседовала с Галиной о всяких пустяках. При этом она часто смеялась и вообще была как будто чем-то доволь-

на. Наконец она приказала позвать Сидорку, заметив, что хочет послать его в Троицкое по нужному ей делу: он, мол, парень расторопный, живо спроворит дело. Галина, точно не зная, что Сидорки нет дома, побежала за ним в служилую. Само собой разумеется, что ей пришлось возвратиться к барыне с известием, что Сидорки нет, что он ушел куда-то. Салтычиха вспылила и тут же приказала, когда он возвратится, отослать его к Анфиму за «кнутабойным обедом» Галина часто, после этого, ходила наведываться, не возвратился ли Сидорка, но Сидорка не шел.

Но Сидорки все не было.

Перед сумерками, когда Салтычиха после жирного обеда с костылем в руках сидела в своем любимом кожаном кресле, погруженная в какую-то дремотную созерцательность, по дому вдруг разнеслась поразившая всех весть: к дому подошла полицейская команда и стала с тесаками в руках у ворот.

С этим известием прибежала к Салтычихе Галина, перепуганная и взволнованная. Она почему-то находила нечто общее между исчезновением Сидорки и появлением поли-

цейской команды в доме Салтычихи.

Полицейский поручик в сопровождении драгуна входил уже по лестнице в дом, когда Галина сообщила:

– Пришли, барыня, полицейские драгуны, у ворот стоят... и с тесаками...

– Ложь!.. Я этого не допущу!.. – грозно крикнула при этом известии Салтычиха.

Всю ее точно передернуло. Она вытаращила глаза, крепко сжала рукой конец костыля да так и застыла в этом положении, мрачная и черная, как грозовая туча, ужасная до зверства в своей ледяной неподвижности.

Глава XVIII

Борьба

Салтычиха и в самом деле не впустила в дом свой полицейской команды. Она тотчас же распорядилась запереть ворота наглухо, что и было исполнено покорно Анфимом и еще несколькими дворовыми в виду полицейской команды, стоявшей на улице за воротами. Затем Анфиму было приказано спустить всех собак, которые, будучи спущены, немедленно подняли по всему двору невообразимый лай, кидаясь через решетку на команду, защищавшуюся палашами. Человек десять дворовых во главе с Анфимом вооружились топорами и были наготове вступить в бой с полицейской командой, состоявшей тоже человек из десяти. Все это было сделано в самое короткое время и именно тогда, когда полицейский поручик со своим драгуном находился в отдельной комнате в ожидании выхода к нему Салтычихи.

Салтычиха наконец к нему вышла.

– Чему обязана посещением вашего благо-

родия? – спросила она, садясь, но не приглашая полицейского офицера садиться.

Поручик в приличных выражениях, стоя перед Салтычихой в приличной же позе, объяснил цель своего посещения.

Салтычиха, внимательно выслушав поручика, покачала головой и долго не спускала с него глаз, точно стараясь разгадать, что ему надо и на что он, собственно, способен.

Поручик стоял и тоже смотрел на Салтычиху с приличным его званию достоинством.

– Ну и что ж? – спросила затем Салтычиха.

– Приказано касася следствия... – отвечал скромно поручик.

– Следствуй, ваше благородие, следствуй! Вот я вся тут, вся перед тобой, ваше благородие, и весь мой дом к твоим услугам. Гуляй, бегай, а то и спать ложись – благо, вишь, вечерет. Я баба сговорчивая.

Последние слова были сказаны Салтычихой с особенной выразительностью. Поручик заметил это и проговорил с не меньшей любезностью:

– О, сударыня, сговорчивый человек и я. Но... знаете ли... служба... обязанности... мы

должны блюсти... нас посылают... Служба дело очень, сударыня, серьезное, службой шутить не следует. Но мы все же люди, и всегда доподлинно нам известно, с кем и как вести себя нам, офицерам, следует...

По-видимому, поручик был себе на уме, птица, как говорится, стреляная. И хотя говорил он не особенно красноречиво, но своей речью передавал именно то, что хотел передать и что ему передать было необходимо.

Салтычиха опять слушала его внимательно, а потом, вдруг как бы спохватившись, предложила:

– Да что ж ты не садишься, ваше благородие? Садись!

– О, я и постою, – скромно ответил поручик и как-то своеобразно взмахнул глазами на дверь.

Стоявший там драгун вдруг отрапортовал:

– Вашбродь, надо бы команду оглядеть, не разбрелись бы!

– Пшел! – было ему ответом.

Драгун вышел.

– А и ловко ж у тебя, ваше благородие, все это обстроено, вовсе по-умному, – заметила с

улыбкой Салтычиха, когда драгун скрылся за дверью.

– Нельзя-с... служба-с...

– Ну вестимо... понаторел...

– Служба всему научит...

– Ну вот и скажи: как тебя, ваше благородие, служба научила побывать в доме Панютиной? Сколько дано?

– Даны пустяки-с... – отвечал, не стесняясь нисколько, поручик, потому что дело это до того было обыкновенным в описываемую эпоху, что о нем говорили не краснея, как не краснея и брали.

– Какие ж пустяки?

– Десять золотых-с...

– Ври больше! – не утерпела, чтобы не заметить, Салтычиха, точно поняв, что поручик нагло соврал: он получил всего только пять золотых. (По тому времени и это были деньги весьма изрядные.)

Поручик нашел необходимым уверить Салтычиху в своей честности.

– Честное слово полицейского офицера! – воскликнул он, прижав левую руку к сердцу.

– Ну, я дам двадцать, – сказала Салтычиха

и, встав, прибавила: – Да еще как-нибудь на деньках пришли верного человечка, ссужу тебе борова хорошего да убоинки пудов пять. У меня что-то много поднакопилось этого добра. А тебе боров, ваше благородие, будет к лицу... я вижу... мужик ты добротный...

Салтычиха вышла. Вскоре вышел из ее дома и полицейский поручик в очень хорошем настроении духа. Сходя с лестницы, он даже своеобразно напевал:

*Всегда прехвально, предпочтенно,
Во всей вселенной обожжено
И возжеленное от всех,
О ты, великомошно счастье!*

«Великомошно счастье» поручика было так велико, что он в тот же вечер доносил по начальству все «как следует», но так, что для следствия над Салтычихой не было ни малейшего повода, а если бы и началось следствие, то в нем трудно было бы разобраться полицмейстерской канцелярии, ведавшей тогда подобными делами, и в десяток лет. Бог весть почему, но и полицмейстерская канцелярия не нашла данных для следствия, и дело как-то быстро было замято и забыто, тем бо-

лее что и Тютчев от своего доноса отказался, заявив, что донос он сделал сторяча и по недомыслию и готов просить у Дарьи Салтыковой «публичной милости». До «публичной милости» его не довели, но взыскали довольно изрядный штраф, который, конечно, заплатила Панютина, и тоже была весьма рада прекращению дела. Тютчев попросился по болезни в отставку. Ему ее дали без проволочек, так как на его место было немало охотников, и он немедленно со своей болезненной невестой поехал в ее имение, в Орловскую губернию, благодаря Создателя, что Он избавил его от Салтычихи и даже, может быть, от верной смерти.

Таким образом, были удовлетворены и довольны все: и Тютчев, жаловавшийся на Салтычиху, и Панютина, его невеста, искавшая спокойствия, и сама Салтычиха, намеревавшаяся отомстить Тютчеву за измену.

Не была довольна одна Галина.

Бедная девушка совсем ошалела, когда до нее дошли слухи о смерти Сидорки. Это ей сообщил повар Качедык, почему-то разузнавший суть дела ранее всех и ранее всех серьез-

но решивший, что «такое дело и похлебки гороховой не стоит, не токмо что крутой каши».

– Кто же?.. Когда?.. – пристала к нему девушка, и веря и не веря известию. При этом сама она дрожала как в лихорадке.

– Недавно дело было, – сообщал спокойно Качедык, – всего третьего дня, в ночь, стало быть, потому что нашли молодца наутро. А кто – одному Богу ведомо. Скорее всего те молодцы, с коими Сидорка компанию вел и совместно метресок сыскивал. Дело известное.

– Неправду ты говоришь! Неправду! – почти простонала Галина, убегая в свою каморку.

В каморке она упала на постель и разразилась рыданиями, неутешными, тяжелыми, вся изнемогая под давлением так неожиданно нахлынувшего на нее горя. Во всем, конечно, она винила Салтычиху, чуяла это любящим сердцем, проклинала ее, и к Салтычихе в ней закипело снова то озлобление, которое было когда-то, еще при жизни отца, в лесной сторожке. Среди горя и отчаяния прошлое как-то само собою восставало перед ней, она припоминала все подробности этого прошло-

го – в особенности же не переставала припоми-
няться ей клятва, данная над могилой от-
ца. Зачем она забыла ее?.. Что привязало ее к
этой всеми ненавидимой женщине?.. Галине
с омерзением припомнилось все то, что она
делала в последнее время для Салтычихи.
Она стала у Салтычихи первой горничной,
она пользовалась своим влиянием и нередко
кое-кому мстила за старые обиды, она чуть не
стала перед Салтычихой доносчицей на своих
собратий, таких же крепостных, как и она. По
крайней мере ей представлялся в этом роде
случай, и она еле-еле удержалась от доноса. И
что же? Что она за все это получает? Получает
подарки, тряпки какие-то, видит иногда
благосклонные улыбки барыни, пользуется
правом безнаказанно трепать других – и
только. Но ведь и барыня иногда трепет ее,
хотя и не больно, но весьма чувствительно.
Как знать, чем все это кончится. Не кончится
ли тем, чем кончилось со старухой Фивой?
Ведь и та тоже была молода, красива, тоже в
свое время была любимицей барыни, пользо-
валась влиянием среди дворовых, а кончила
тем, что помешалась и была убита чуть ли не

самой барыней. Не ждет ли подобная участь и ее, Галину? «О да, да, ждет! Убьет Салтычиха и меня!» – простонала девушка, и непомерная злость к Салтычихе охватила ее сердце, охватила болезненно, неудержимо. Целый рой намерений промелькнул в ее голове, и какая-то решимость, неопределенная, но смелая до дерзости, засветилась в ее глазах. Она вскочила, утерла кулаком слезы и покинула свою каморку. Через минуту она была уже в комнате Салтычихи.

Салтычиха находилась в хорошем расположении духа. Она самолично раскладывала по столу старые, засаленные карты, видимо гадая, и улыбалась во все свое лицо. В этот день благодаря этому обстоятельству ни одного крика не раздалось в доме, и кнут Анфима висел празднично на стене конюшни. В тот же день благодаря тому же обстоятельству Галину ожидал весьма ценный подарок: Салтычиха решила подарить девушке залежавшееся у нее с давних лет и вовсе для нее бесполезное жемчужное ожерелье. Галина, конечно, не ожидала такого ценного подарка. Да ей теперь совсем было и не до подарков.

К Салтычихе девушка вошла неровной походкой, бледная, сильно возбужденная.

– Ай, девка! Что с тобой такое? – встретила ее Салтычиха, медленно повернув голову в ее сторону и держа в руке трефового короля.

Галина отозвалась не сразу.

– Аль и язык отнялся? Промолви словечко-то, будь милостива, – шутила Салтычиха.

– Барыня... Сидорка... убит... – начала Галина тихим, дрожащим голосом, глядя на пол, как уличенная в каком-нибудь преступлении.

Салтычиха слабо усмехнулась:

– Убит... точно... А тебе что в том, девка? Забота?

Салтычиха бросила трефового короля в грудку других карт и сверкнула глазами. День ее был испорчен, хорошего настроения как не бывало.

Галина молчала, стоя по-прежнему недвижимо.

– Ну говори же, что тебе в том, что Сидорка убит? Какая забота?

– Забота та, барыня, – молвила глухо девушка, – что я... я... я любила Сидорку...

– Вот так дура! – гаркнула во все горло Сал-

тычиха и громко рассмеялась.

Девушка подняла голову. На глазах ее виднелись слезы.

– Уж не по нем ли ты плачешь-тоскуешь? – продолжала смеяться Салтычиха. – Коли по нем – поуспокойся: я для тебя лучше муженька приспособлю, да еще и подарочек для молодушки дам – ожерельице жемчужное, красивое. Будешь что щеголиха какая с Кузнецкого, расфуфыришься – ай-ну!

– Ах, барыня, барыня! Как же я любила его! – произнесла с нежностью в голосе девушка, закрывая лицо руками.

– Вот! Где умница, а где и дура! – воскликнула Салтычиха. – Любила – так и сказала бы: я бы живо вашу свадебку спроворила. Парочка была бы хоть куда.

Галина не знала, что сказать на это. Ведь в самом деле барыня говорит правду. Чего она молчала? Чего она боялась сказать барыне о том, что так было важно, может быть, для всей ее жизни? Скажи она об этом барыне ранее, теперь она наверняка была бы счастлива, и Сидорка наверняка был бы жив. А теперь его нет – и все для нее кануло как будто

в вечность. Одна только злость и гложет ее сердце, и вот она теперь ежеминутно готова бросится на Салтычиху, которая, может быть, ни в чем и неповинна относительно постигшей ее потери. Но ей хочется знать: кто же был настоящим, роковым виновником ее потери, и она допытывается у барыни:

– А убил-то кто ж?

Чаша терпения Салтычихи была переполнена, все было испорчено, омрачено. Она вскинула на девушку глаза.

– А ты, должно, про кнут позабыла, девка? – зашипела она. – Так напомним!

– Всегда ждали и ждем этого! – отвечала с дерзостью Галина.

– Девка, уймись! – уже гаркнула Салтычиха, грозно завертев глазами и хватаясь правой рукой за свой костыль.

Девушка сделала порывистое движение по направлению, где сидела барыня.

– Ну на, бей, душегубица ненасытная! – визгливо, в безумии, крикнула она, остановившись на шаг перед Салтычихой и выставя перед ней свою девичью грудь. – Бей, бей! Ты Сидорку убила, убей же и меня! Я вся пе-

ред тобой тут!.. Убей!

Салтычиха побагровела, хотела что-то крикнуть, но от сильного озлобления только издала какие-то хриплые звуки, закашлялась, потом привстала и подняла костыль...

Галина болезненно вскрикнула, но в то же время вскрикнула и Салтычиха, а через минуту и статная Галина, и грузная Салтычиха лежали уже на полу и барахтались, стараясь ухватить друг друга за горло. В борьбе, видимо, преобладала Галина. Салтычиха только громко кряхтела и старалась крикнуть. Но Галина зажимала ей рот, и наконец наловчилась как-то схватить Салтычиху за горло, надела на нее...

В комнате, где происходила такая ужасная, отвратительная борьба двух озлобившихся женщин, стало тихо как в могиле...

Часть третья

Знаменательный указ

Глава I

Смуглянка

О случаю коронации императрицы Екатерины II отправился в Москву и недавно бывший цальмейстер гвардейской артиллерии, теперь граф Римской империи Григорий Григорьевич Орлов.

Граф поместился в новопостроенных своих палатах на Шаболовке, совершенно глухой и пустынной улице, сделавшейся немедленно местом, куда начала стремиться вся московская знать.

В ожидании коронации граф без стеснения повел жизнь открытую, веселую и, как любитель лошадей и голубей, преимущественно занялся этими двумя предметами: объезжал на беговых дрожках своих кровных рысаков и кормил собственноручно тысячи голубей. При этом не было забыто и хлебосольство. Для всех и всякого, не исключая и простона-

родья, дом графа был открыт, и всякий по возможности находил в нем то, что искал.

Вся эта открытая, пышная и хлебосольная жизнь имела, однако, и свою практическую подкладку.

Глядя на его широкую, по-видимому безалаберную и расточительную жизнь, москвичи решили, что граф глуп и умеет только проживать деньги. Конечно, это мнение высшего московского круга было известно графу, и он добродушно посмеивался в кулак, называя, в свою очередь, сановитых москвичей «дуровыми кобылами».

Простонародье Москвы, напротив, нашло графа вельможей умным и тароватым. Всюду и всегда жадное на подачки, на которые граф не скупился, оно решило, что граф «золотое сердце», и без всякого преувеличения можно сказать, что в назначенные дни целыми тысячами запружало двор шаболовских хором, получая там и даровую пищу, и даровые деньги.

С этой целью устраивались на дворе громадные, легко разбираемые навесы, а под ними ставились столы со скамейками, и народ

впускался туда поочередно, сохраняя должный порядок, что было одним из первых условий дарового сытного угощения. Иначе буяна и забияку ожидало другого рода угощение — тоже даровое и тоже сытное, но только на графской конюшне и не из рук повара-добрняка, а из рук усача-кучера. Благодаря этой предусмотрительной мере народные сборища на графском дворе отличались замечательной тишиной, и порядок на них, невзирая на массы народа, не нарушался никогда.

Сам граф, запросто, в халате и в туфлях, имел обыкновение почти всегда бывать на этих угощениях, медленно обходил ряды столов, здоровался со своими бедными гостями, пробовал кушанья, нередко тут же выслушивал просьбы и в свое время удовлетворял их, если просьба заслуживала внимания. Вздорная и пустяковая просьба тоже не оставалась без внимания: проситель тоже получал удовлетворение, но такое, которое навсегда отучало его от вздорных просьб. И все это, что замечательно, делалось с тем отеческим добродушием, которое, кажется, только и свойственно одной русской натуре. Тут были до-

вольны обе стороны, и обе стороны ничего друг против друга не имели.

Неизбалованный с детства, немало лет тянувший, хотя шумно и весело, военную лямку, бывший цальмейстер гвардейской артиллерии имел обыкновение, особенно летом, вставать рано. Никого не беспокоя, побрившись сам, в легком халате на горностаевом меху, в красных туфлях, с обвязанной платком головой, чтобы не испортить прекрасных буклей на лбу и на висках, граф проходил в сад и немедленно начинал заниматься голубями. Затем с двумя-тремя какими-нибудь любимцами из «сероплеких» на плечах он долго прогуливался и размышлял. Прогулка оканчивалась гимнастикой: граф прыгал по дорожкам сада, бегал, вертелся колесом, раскачивал и нагибал молодые деревья, швырял вверх и ловил камни. В заключение граф тихо напевал нежные гавоты или русские хоропроводные песни, из которых любимейшей его песней была «А мы просо сеяли, сеяли». Пение иногда заменялось чтением. В этом отношении граф отдавал предпочтение древним писателям и книгам по сельскому хозяйству.

В одну из подобных ранних прогулок с графом случилось маленькое происшествие, имевшее, однако, потом далеко не маленькие последствия.

Увлечшись гимнастикой, удалому графу, любившему когда-то чехарду и лихо игравшему в эту игру, захотелось как-то тряхнуть стариной. Так как для затеи не было подходящих спин, то граф решил перепрыгнуть через невысокую стену сада. Задумано – сделано: запахнув халат, он разбежался и, найдя упор в стволе старого серебристого тополя, без труда перемахнул за стену.

«А, волк еще ногастый! – похвалил он сам себя, очутившись на пустыре. – Еще побегаем, поскачем да и зайчиков половим!»

Граф оглянулся. Кругом – пустырь как пустырь: высокая трава, крапива, широко разросшиеся лопухи. Откуда-то попахивало навозом. На какой-то куче, шагах в двадцати, семья галок дружно копошилась и чего-то искала. Почти машинально граф шагнул по направлению к галкам. Те сорвались с кучи и уселись тут же на стене.

– Вы, воронье! Чего испугались? – произнес

граф. – Тоже московские, с навозу да на стену!..

Солнце уже поднялось. Августовский день обещал быть ясным и теплым. Красноватые лучи солнца уже ярко горели на золоченых главах Донского монастыря, и зубчатая стена монастыря как-то особенно отчетливо вырисовывалась в утреннем сероватом воздухе. Было тихо и прохладно.

Как у любителя вообще неожиданностей, случайностей и всякого рода занимательных okazji у графа мелькнула капризная мысль: «Пойду пошагаю по этим пустырям – пустыри-то мои. Должен же я знать, что у меня имеется».

И граф зашагал по пустырю, не замечая даже, что ноги его несколько вязли в рыхлой почве, даже промокали. Он быстро очутился на дорожке, узкой и пыльной, проложенной огородниками. Дорожка тянулась прямо к Донскому монастырю, а по сторонам ее пестрели огороды с неубранными еще капустой, морковью, репой, редькой, огурцами.

– Идиллия полная! – произнес граф, приостанавливаясь и оглядываясь прищуренны-

ми глазами вокруг. – И все ведь это мое. То-то в Москву попал – ворох капусты нажил. А вот и редька, а вот и морковь, а вот и горох... А вот...

Граф вдруг остановился. Глаза его прищурились еще более, потом расширились, а по лицу скользнула та улыбка, которая часто появляется у людей при виде какой-нибудь приятной неожиданности.

В нескольких шагах от графа на краю дорожки сидела девушка с грудой зеленого только что набранного щавеля в фартуке. Когда граф заметил ее, она уже сидела с несколько перепуганным лицом, не зная, встать ли ей или сидеть. Одета она была очень бедно. Но головкой ее, в ярко-пунцовом платочке, повязанном узелком на затылке, залюбовался бы любой почитатель женской красоты. На смуглом лице девушки как-то особенно красиво выделялись черные, блестящие глаза и хорошенький носик. Полуиспуг придавал ее сидящей фигурке еще больше прелести.

Граф медленно к ней приблизился.

– Пастушка!.. А где же твой пастушок?.. –

начал граф с улыбкой, вкрадчиво и тем тоном, каким он привык объясняться издавна в Петербурге во время своих шумных гулянок в аустериях, переполненных иноземными девицами.

Смуглянка не поняла шутки графа. Она сидела по-прежнему в полуиспуге, с приподнятой головой, с широко открытыми глазами.

– Испугалась?... О, ты меня не бойся, востроглазая смугляночка! – успокаивал ее граф, слегка нагибаясь корпусом и слащаво улыбаясь во все свое красивое, холеное лицо. – Что, мил-дружка ждешь, щавелек собираешь, угостить им мил-дружка хочешь?.. У, кисло! Не угощай! Разлюбит!..

И граф при этом поморщился, как будто в его рот попала неприятная кислота и он хочет ее выплюнуть.

Лицо бывшего гвардейского «шаматона» и «шаркуна» было настолько уморительно, что сидящая смуглянка скромно рассмеялась, но тотчас же, подумав, что смех ее неуместен, присмирела.

– Вот и хорошо! – одобрил ее находившийся в ударе шутки граф. – Теперь мы познако-

мимся покороче. Присесть можно?

Смуглянка недоумевала и уже совершенно боязливо глядела на любезного, но тем не менее для нее непонятного и так странно одетого кавалера.

– Конечно, можно! – отвечал сам себе граф, как будто не замечая испуга девушки. – Огороды-то ведь мои, я тут главный огородник. И капуста и редька – все мое. Только ты не моя, черная маковка. А присесть – присяду. Вот и будем мы – хрен да мак. Как это поется у хохлов?

*В огороде хрен, хрен, хрен.
Женка каже: мак, мак, мак!
Мужик каже жонке враже:
Нехай буде так, так, так!*

Граф, приспособив халат, и в самом деле присел на землю возле так неожиданно встретившейся ему девушки-смуглянки.

Глава II

На ловца и зверь бежит

Граф Григорий Григорьевич Орлов принадлежал к числу людей необычайно оригинальных, или, как их тогда называли, своеобразных, и при этом он обладал даром той плутоватой прозорливости, которая делает людей развязными и смелыми при всякого рода случайностях.

Своеобычность Григория Григорьевича была изумительна: в одно и то же время он был и горделив непомерно и скромн до мещанской простоты. Аудиенции у него часто не могли добиться самые высокопоставленные лица, а в то же время какая-нибудь хромая старуха занимала его по целым часам. С простым народом он умел говорить артистически, часто гулял по Москве в мещанском сюртуке и картузе, любил в одиночку посещать герберги, аустерии и трактиры, и всюду его любимым удовольствием было намять кому-нибудь бока или же получить самому хорошего тумака. Все эти своеобразные качества были

хорошо известны Екатерине, и Екатерина не преминула ими воспользоваться. Отпуская Орлова в Москву, она сказала:

– Много есть развращенных нравами, праздных людей. Люди те дерзкими ухищрениями всюду порицают правительство и все ненарушимые гражданские права, развращая тем и других слабоумных и падких на вредную болтовню людей. Есть такие, думаю, и в Москве, может, и более, чем в Питере. Займись там ими, Григорий Григорьич... хоть пока.

– Надену их балахон – займусь, государыня, – отвечал новопожалованный граф.

– Знаю, кафтан надевать тебе не в диво, – улыбнулась императрица, припоминая при этом, как она однажды в Петергофе видела Орлова в костюме русского ямщика и как этот костюм шел к рослой и статной фигуре молодого гвардейца.

– Коль надо, я и рубище надену, государыня, – добавил Орлов.

– Ну, там как знаешь, дело твоего резона, а только сие мне весьма необходимо.

– Постараюсь, государыня.

– Вот еще, Григорий Григорьич, – остановила императрица Орлова, когда тот, не по-придворному, а запросто поцеловав руку государыни, хотел было выйти. – Дело я одно припомнила. Дело-то с виду не особливо будто важности большой, а для меня прелюбопытное.

Орлов слушал.

– В Москве, ты знаешь, – продолжала, как бы что-то обдумывая, императрица, – живут Салтыковы, много их там. Разузнай-ка об них кое-что, Григорьич. Что-то об одной из них, об Салтыковой-то, много говору по Москве идет: будто она и людей своих крепостных мучает, и будто даже убивает. Может, все сие и выдумки праздные, языки чешут, но все же поразузнать нелишне мне.

– Поразузнаю, государыня.

– Исподволь только, тихомолком, не то пораздразнишь там кое-кого. Покойная государыня Елисавета много им там мирволила – невзлюбят, коль в их гнездо прямо заглянут, загалдят. Царьки тоже...

Орлов был точный и энергичный исполнитель всего, за что брался.

По приезде в Москву, между прочим, он начал следить и за Салтыковыми. Богатые и аристократические Салтыковы ни к каким подозрениям повода не подавали, и граф оставил их в покое, обратив преимущественно внимание на одну только вдову Дарью Николаевну Салтыкову. По добытым графом данным и Дарья Салтыкова вскоре оказалась особой почти безобидной, по крайней мере об ней отозвались так те, которым граф поручил это дело. Тут граф несколько недосмотрел. Салтычиха зорко следила за событиями и сообразно с ними сообразовывала и свои поступки. Кроме того, рука ее и теперь была так же щедра на подарки, как и ранее. Она сыпала ими, не жалея, даже уж чересчур.

Графу доложили:

– Все одни слухи. Помещица для своих крепостных добрая, хотя и строгая. Потачки не дает.

На самом деле на первый взгляд это и было так.

Крепостные крестьяне против Салтыковой, своей помещицы, ничего не имели, так как она мучительницей являлась только для

одних дворовых и преимущественно для одних только дворовых девок, которые были и беззащитнее и безгласнее других. Опять же строгие расправы с крепостными были тогда не в редкость, и Салтыкова, по-видимому, только не была исключением из общего ряда помещиков и помещиц.

Граф Орлов имел обыкновение не сразу доверять всему. В суетне приготовлений к коронации он не бросил дела, но только отложил его до более благоприятного времени.

– Уж эти мне баре! – пригрозил он только кому-то.

Салтычиха между тем, по обыкновению, жила в своем Троицком в тяжелом одиночестве, более чем когда-либо злая, мрачная и недоступная. Про детей она совсем забыла, как будто их для нее и не существовало. Забыла она и про любимого когда-то инженера Тютчева, женившегося и проживавшего теперь в женином имении где-то на Оке.

Не забыла одного только Салтычиха – не забыла черной неблагодарности последней любимицы своей, Галины.

Галины при ней уже не было – она пропа-

ла без вести, и о ней не было, как говорится, ни слуху ни духу, она словно в воду канула. Побег ее из дому Салтычихи совершился после той озлобленной борьбы, которую она почти в умопомешательстве затеяла с барыней.

Увидев, что под ее руками Салтычиха хрипит и багровеет, Галина вскочила и бросилась из комнаты вон. Салтычиха не в силах была преследовать ее.

– Барыне худо! Худо барыне! – кричала тогда Галина перед всей сбежавшейся на ее крик дворней. – Надо бежать за лекарем!

И девушка точно, захватив торопливо кое-что из ценных вещей и с десятков скопленных золотых, убежала и уж более не возвращалась.

В комнату барыни первая осмелилась заглянуть Агаша.

Салтычиха сидела уже в кресле, страшно бледная, с признаками пены у рта, но, по-видимому, спокойная.

– Где Галька? – спросила Салтычиха слабым голосом, будто между ней и только что убежавшей Галиною ничего не происходило.

Узнав, что Галина ушла будто за доктором,

Салтычиха догадалась, что любимица ее сбежала. В тот же день она подала в полицию заявление о побеге дворовой девки, мысленно обещая ей, когда отыщется, такие истязания, какие никому и в голову не приходили. Салтычиха даже была уверена в том, что Галина отыщется, и принимала для того особенные меры. Но усердные полицейские розыски делу не помогли. Бежавшая не отыскивалась, не попали даже на ее след. Салтычиха злилась, скучала, вымещала свое озлобление на дворовых, которые в одиночку и все вместе не на шутку начинали подумывать о жалобе на барыню царствовавшему еще Петру III. Примкнул к недовольным даже кучер Аким, возвратившийся из вологодской вотчины. Побег Галины не на шутку взволновал и его. Он загрустил, затосковал, стал нерадив в своих делах, и потому его же собственная плеть не миновала и его же собственной спины. Аким озлился на Салтычиху, как и другие дворовые. Остался верен ей один немой Анфим.

Время шло. Настал 1762 год. Миновала суровая зима того года, прошла дождливая весна, приспело теплое, сухое лето.

Вступление на престол новой императрицы застало Салтычиху в Троицком. Она тотчас же получила об этом известие из Петербурга от людей, интересовавшихся ее громадным по тому времени состоянием, с предостережением, чтобы она держала себя поосторожнее, так как новые люди, окружившие новую императрицу, могут взглянуть на все иначе и то, что сходило с рук при Елизавете, не сойдет теперь при Екатерине. «Жадны уж очень, заgreбисты сии новые охальники», – сообщалось, между прочим, в письме, присланном с верным нарочным человеком.

«Эк их стращают! – подумала Салтычиха. – Баба по-бабьему и править будет. Бояться мне нечего».

Совет, однако, был принят во внимание, и она сдержалась в своих расправах. Волчья погребница была уничтожена, скалка и рубель закинута в сарай, поленья не ходили по спидам дворовых девок, и шестихвостая ременная плеть Акима заменилась обыкновенным пучком березовых прутьев, пускавшихся в ход тоже с осторожностью. Дворовые недоумевали и объясняли эту милость Салтычихи

ее болезненностью. «Устала барыня хлестать, сама занемогла», – решили они и приободрились.

Как раз в это время верные люди Григория Орлова вели негласное расследование о деяниях Салтычихи. К чему привело их расследование – известно. Салтычиха оказалась обыкновенной доброй, но строгой помещицей, и, по-видимому, обстоятельства благоприятствовали ей и далека была от нее карающая десница закона.

Пустой случай дал делу совершенно иной оборот. Ранняя прогулка графа Орлова на своем шаболовском пустыре повернула дело так, что над Салтычихой вдруг нависла грозная туча.

Но грозная туча эта зародилась из графской красивой улыбочки перед красивой смугляночкой, перед которой граф, не жалея своего дорогого халата на горностаевом меху и не боясь сырой травы, уселся с мещанской свободой.

– Ну-с, – начал граф, взяв двумя красивыми пальцами в дорогих перстнях за подбородок смугляночку, – позволь узнать, кто ты и откуда

да. – И, не дожидаясь ответа, произнес: – О, знаю откуда! Вон, должно быть, из того домика, что виднеется в лощинке. Да, я угадал?

Девушка во все глаза смотрела на графа и ничего не отвечала. Испуг ее не прошел.

– Ты боишься? – продолжал граф. – О, ты меня не бойся, я человек хороший и зла тебе никакого не сделаю. Мне просто хорошо посидеть с тобой вот тут, на травке, подле тебя и подле вот этой морковки. Ну говори же, откуда ты, кто?

– Я... я... я... беглая... – проговорила, заикаясь, смуглянка, по-видимому вовсе не соображая того, что сказала.

– Беглая? – произнес все тем же ласковым тоном граф. – Это что же такое – беглая?

– Так... бежала... от помещицы... – досказала смуглянка и перепугалась совершенно.

– От какой? – спросил граф.

– От... Салтычихи... Салтычиха... моя... помещица... – отвечала совершенно машинально девушка.

– Вот те на! – воскликнул граф.

Ему пришлось тут же схватить девушку за руку, потому что та, мгновенно вскочив и рас-

сыпав из фартука щавель, чуть было не пустилась от него бежать.

– Постой! Куда же ты? – держал ее крепко граф. – Бежать не надо.

Девушка вдруг залилась слезами, упала на колени и прильнула лицом к ноге графа.

– Барин, барин! – заговорила она сквозь слезы. – Отпустите меня... отпустите... не то барыня моя, Салтычиха, убьет меня непременно...

«Вот, на ловца-то и зверь бежит», – подумал граф и стал успокаивать расплакавшуюся девушку.

Глава III

На Тюльпе[2]

На Тюльпу!

Странно и непонятно звучит в настоящее время это слово. Но сто-полтораста лет назад оно так же было понятно для всякого москвича, как понятно теперь «в Сокольники», в «Петровский парк».

Тюльпами на Москве в старину назывались Семиковые гуляния и увеселения, происходившие преимущественно на пространстве нынешней Трубной площади и нынешних Цветного бульвара, Екатерининского парка, Лазаревского кладбища и Марьиной Рощи. Все это пространство в старину, почти до конца прошлого столетия, по берегам реки Неглинки и Самотечного пруда порастало старыми деревьями и представляло самое удобное место для народных гуляний. Была, однако, и другая причина, почему Семик справлялся москвичами именно здесь, а не в другом месте.

Исстари на Москве существовали так на-

зываемые скудельни, или убогие дома. Назначение этих убогих домов, заведенных в подражание иерусалимскому скудельничьему селу, состояло в том, что в них хранили тела людей, погибших насильственной смертью, и тела казненных преступников. Только раз в год отпевали несчастных и хоронили, именно в первый день Семика.

В Москве было подобных убогих домов несколько: при Варсонофьевском монастыре, куда Лжедмитрий I велел кинуть тело царя Бориса Годунова, при церкви Николы в Звонарях, при Покровском монастыре, у ворот которого лежало на дорогах тело того же Лжедмитрия, пока его не свезли за Серпуховскую заставу и не сожгли в деревне Котлы, и на Пречистенке, у церкви Пятницы Божедомской.

Но самый древний и самый большой убогий дом находился у церкви Иоанна Воина на старых убогих домах, именуемой еще Воздвижением Честного Креста. В этот убогий дом, как один из главных, ежегодно в Семик ходил в сопровождении архиерея крестный ход из Высоко-Петровского монастыря, и со-

бирались тысячи набожных людей совершить дело милосердия. Они покупали гробы и саваны, холсты и полотна и отправлялись с ними в помянутый убогий дом. Там находилась необыкновенно громадный сарай-амбар с глубоким ямником, в котором находилась и часовенка с кружкой, а подле самого убогого дома лепилось несколько хибарок, составлявших нечто вроде богадельни, в которых постоянно проживали юродивые и увечные нищие. Они-то, собственно, и складывали в амбар трупы и берегли их. Разбирая навалку тел, обернутых в рогожи, одни отыскивали там своих родных, пропавших без вести, другие – знакомых, и при этом часто происходили сцены, душу потрясающие. Добрые люди голыми руками собирали и прикладывали отгнившие члены к трупам и одевали их в саваны. Некоторые труженики сами затем рыли для несчастных погибших могилы, засыпали их землей, служили по ним панихиды, а после тут же делали поминки, пили, закусывали и шли затем на Тюльпу, где уже водили московские девицы хороводы, ходили с березками, разукрашенными лентами и где вооб-

ще совершался уже полный разгул любимого праздника.

На Тюльпе было обыкновенно шумно и весело. Под ракетами Неглинки и Самотечного пруда пестрели палатки. Там продавались желтые яйца, сладкий мед-липец, брага, буза (напиток из гречневой муки), перепечи, караваи, сдобники, драчены, маковые избоины, орешки-щелкунцы, прянички-сосунцы и много других тогдашних сладостей. Там же жарили сочни, варили сырники, печенку, рубцы, блины. Среди массы собравшегося народа слышались разгульные песни, крики, звуки бубнов, балалаек и других инструментов, и надо всей этой разгульной толпой в разных местах непременно высились огромные березы, густо разукрашенные алыми и синими лентами. Под этими березами сидели нищие, тянувшие Лазаря, убогие, юродивые, и под ними же плясали скоморохи, потешая толпу своими выходками.

На эти гулянья не стыдились приезжать и богатые люди. «Как, – говорили они, – не побывать на честном Семике? Ведь Семик-то жених Масленицы!»

По этому поводу в прежние времена существовала даже погудка-прибаутка. Семик ластится к Масленице и зовет ее к себе в гости. «Эх, душа моя Масленица, перепелиные косточки, бумажное твоё тело, сахарные твои уста, сладкая твоё речё, красная краса, русая коса, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трехматерина дочка, кеточка, ясочка, ты же моя перепелочка!»

Нередко посещали эти Семиковые народные гулянья цари и царицы и дарили девушкам и парням серьги, бусы, ленты, платки, запонки, кушаки. На них бывал Петр Великий с Екатериной, бывала Елизавета, бывала и Екатерина II. Разумеется, празднество тогда было посдержаннее ради великих гостей, но в их отсутствие разгул принимал нередко весьма и весьма буйный характер, уж не говоря про другого рода неурядицы и вольности. Один из сатириков прошлого столетия («И то и се», изд. 1769 г.) не утерпел, чтобы несколько не побранить Семиковый разгул на Тюльпе. Описав начало празднества, он замечает:

Вот —

Березка шествует в различных

лоскутках,
В тафте, и в бархате, и в шелко-
вых платках,
Вина не пьет она, однако с вами
пляшет
И ветвями тряся, так как рука-
ми машет.
Пред нею скоморох беснуется,
кричит,
Ногами в землю он, как добрый
конь, стучит.
Он пляшет, и пылит, и грязь нога-
ми месит,
Доколе хмель его совсем не пере-
весит.
Танцует голубца, танцует и быч-
ка,
Хвативши чересчур «ржаного мо-
лочка».

Далее следуют обличения разгула и пре-
имущественно пьянства, которое действи-
тельно совершалось в невообразимых разме-
рах.

Семик 1762 года в Москве был так же раз-
гулен, как и Семики прежних лет. Было так
же много народу на Тюльпе, было так же мно-
го пьянства и буйства. Разодетые девушки

так же носили березки, водили хороводы, пели Семиковые песни.

Но в этой многотысячной толпе, шумной и веселой, одна только девушка не веселилась, не радовалась, а заливалась тихими, горячими слезами.

Девушка эта была Галина, бежавшая в прошлую зиму от Салтычихи.

Бедную девушку только что потрясло до глубины души свидание с тем, кого она любила и кто ей не далее как в прошлую зиму был так дорог и желанен. Она только что видела труп своего Сидорки, который вместе с другими трупами извлекли из амбара убогого дома. Сидорка сравнительно с другими сохранился довольно хорошо, и она тотчас же узнала его. Не успели рабочие вытащить труп и положить в общую грудку на рогожку, как Галина с криком бросилась к нему и обхватила голову его руками. Для сторожей амбара это было вовсе не новостью – они видели и более ужасные сцены, и потому на девушку никто не обратил внимания. Но когда все трупы были вынесены и началась их разборка, один из сторожей, дряхлый, исхудалый старик, хро-

мой и кривой, подошел к ней, покачал головой и промолвил:

– Встань-ка, девонька, встань!

Галина встала, бледная, с опухшими от слез глазами, и остановила свой вопросительный взгляд на старике

– Сродственник? – спросил тот.

– Нет... так... знакомый...

Старик помолчал, скучно и тускло посмотрел на девушку и сообщил ей:

– Убит был тута, недалеко, у Самотеки....

Слышно, Салтычиха пристрелила...

В глазах у Галины помутилось, сердце сильно застучало, голова закружилась. Она тут же сразу грохнулась на землю, а когда очнулась, то возле нее никого не было: не было не только живых людей, но даже не было ни ее дорогого Сидорки, не было груды тех поси-нелых и почернелых трупов, которые были вытащены из амбаров. Все уже было убрано и похоронено где следует.

Она приподнялась, взяла себя за голову, потом медленно привстала. Прямо перед ней вырисовалась, вся красная, церковь Иоанна Воина. Рука девушки невольно сотворила

крестное знамение, а губы тихо прошептали:

– Сидорка... милый... вечная тебе память...

Со стороны пруда неся невообразимый шум, гам, песни, музыка. Тут же было тихо и пустынно. С полдюжины исхудалых и ободранных собак бродили невдалеке и зло поглядывали на девушку. Мрачно высилось здание кирпичного амбара, длинного, без окон, и несколько ворон уселись на его дощатой крыше. Они уныло, как будто перекликаясь, кричали и тоже как будто творили свои поминки по тем, кто так долго лежал под этой крышей, ожидая погребения...

Галина перекрестилась еще раз и, не сообщая ничего, побрела на шум и гам разгульного Семика на Тюльпе.

Вороны и ее проводили своим унылым, хриплым криком...

Глава IV

Надо судить!

Молодой человек из военных, в голубой шинели на красной подкладке, в запыленной треуголке, то и дело торопил ямщика ехать как можно скорее. В пути он был второй уже день и был как раз на полдороге между Москвой и Петербургом.

Скакал молодой офицер в Петербург, по-видимому, с очень важным поручением, потому что подорожная его была подписана самим графом Григорием Орловым. Имя Орловых успело уже сделаться именем очень громким и страшным и потому повсюду на дороге производило надлежащее действие. Смотрители торопились и бегали, лошади давались прекрасные, ямщики на передок повозки вскакивали удалые и, как говорится, бесшабашные. И все это делалось для молодого офицера при самых неблагоприятных условиях. Ввиду скорого проезда императрицы в Москву на коронацию дорога чинилась тысячами рук, и сотни курьеров наводняли ее,

поднимая пыль и крик и так же торопя ямщиков ехать как можно скорее, так как они едут по очень важному делу.

Важных дел в то время было действительно множество, и действительно все скакали, кричали и поднимали пыль на дороге не ради удовольствия, а именно ради дела.

Скакал ради важного дела и наш молодой офицер.

По крайней мере, посылая его в Петербург к императрице с какими-то бумагами, граф Орлов приказал поторопиться, заметив:

– Тебе только, Гаврюк, и мог доверить я сие дело, никому больше. Думаю, ты не обманешь моего доверия, тем паче что в Питере, может, и сама императрица не оставит тебя без внимания. Попомни это!

Молодой офицер, коего звали Гавриил Запасок, имевший счастье быть каким-то отдаленнейшим родственником Орловых, отдал по-военному честь графу – «оправдаю, мол, доверие!» – и слушал далее, заранее уже радуясь в душе графской командировке.

Когда офицер Запасок прибыл в Петербург и пакет Орлова был передан императрице, то,

хотя лично императрица по множеству дел и не осчастливила офицера аудиенцией, но не забыла его и приказала повысить чином.

Молодой офицер, как родственник Орловых рассчитывавший на большее, наградой остался недоволен.

Но еще более осталась недовольна сама императрица тем, о чем доносилось ей Орловым.

Весь тот день императрица была не в духе.

Никита Иванович Панин, известный воспитатель Павла Петровича и один из главных пособников Екатерины, более всех в это время находившийся вблизи императрицы и всюду ее сопровождавший, никак не мог постигнуть причины недовольства императрицы, бывшей так недавно в очень хорошем «авантаже».

В подражание императрице Панин тоже хмурился и все почему-то весь день поглаживал правой рукой борт своего голубого с блестками кафтана. Императрица заметила это.

– Ты бы, Никита Иваныч, отдохнул, – сказала она Панину, когда тот под вечер, явившись

во дворец с маленьким и худеньким Павлом Петровичем, просил позволения сказать ей что-то надобное.

– Отдохнуть успею, государыня, – произнес Панин тихо и слегка склоняясь грузным своим корпусом к выгибному письменному столу императрицы, стоявшему у окна.

– Как знаешь! – произнесла императрица, медленно и со вкусом понюхала табаку и как-то своеобразно насмешливо посмотрела на Панина.

Панин понурился.

– Совсем, совсем заскучал Никита Иваныч, – сказала с шутливым участием императрица.

Панин точно встрепенулся, поправил свои белокурые букли, расставил руки и с торжественным по-придворному поклоном произнес:

– Ума не приложу... что с тобой, мать-государыня, случилось сегодня.

Императрица тихо рассмеялась:

– А еще, Никита Иваныч, мои тайные дела ведаешь!

– Тайные дела монархов лишь Богу одному

ведомы, не людям! – ответил Панин торжественно.

– Ты прав, да права и я, – проговорила императрица вдумчиво и понюхала еще раз табак. – День нынешний мне незадачлив что-то, – продолжала она далее, стряхивая с пальцев остатки табака. – Суди сам, Никита Иванович, сегодня я получила от Григория из Москвы такое известие, что любого лежебоку расшевелит.

Императрица приостановилась. Панин превратился весь во внимание, насторожил свое придворное, дипломатическое ухо. «Дело не шутка, – подумал он, – ежели сама она говорит о нем так».

– Теряешься в догадках, Никита Иванович? – начала государыня. – Думаешь: что, мол, такое? Откудова? Отчего, мол, мне не ведомо? Правду я говорю?

– Правду, государыня, подлинную правду! – искренне воскликнул Панин.

– То-то вот мы! В Питере живем, ничего не знаем, а подле Москвы и в Москве такие дела творятся, что кабы о них попало хоть кой-что в заграничные ведомости, то покойной импе-

ратрице, Елисавет Петровне, ой как не поздоровилось бы!

На лице Панина, несколько вдруг побледневшем, изобразилось такое внимательное выражение, что императрица обратила на это внимание:

– Да ты сядь, Никита Иваныч, а потом слушай.

Панин сел и во все глаза стал смотреть на императрицу, ожидая, что она скажет далее. Но тут одна из пары собачек императрицы, лежавших у ее ног на атласных стеганых тюфячках, завозилась и тихо начала взлаивать. За нею, встревоженная, последовала и другая. Панин поморщился: видимо, неуместный лай собачек был ему не по душе. Императрице трудно было не заметить этого.

– Ах, Никита Иваныч, прости! – произнесла государыня, подавая обеим собачкам по бисквиту, которые лежали тут же на столе. – Не вини их – животинки они неразумные. Вини лучше тех, кои хоть и родились людьми и облик человеческий имеют, а поступки совершают хуже зверей диких. Тех ты вини, Иваныч, они стоят того.

Панин не понимал, на что, собственно, намекает государыня, хотя и ясно видел, что императрица сказала все это неспроста. Он по-прежнему смотрел на государыню и ждал. К его удовольствию, собачки, ухватив бисквитки, улеглись спокойно на свои тюфячки.

– Вот они и успокоились, – продолжила императрица, – им и немного-то надо: бисквитик – и довольно. А человеку все мало, всего ему давай больше да больше. Уж человек, если чего захочет, то ему хоть с неба сорви, а принеси. Он и от крови своего брата не откажется. Вот у меня, Никита Иваныч, есть одна такая особа на примете – кровь человеческую любит. Суди сам: в Москве живет на виду у всех, среди людей, а не зверей, такая барыня, которая в десяток лет своими собственными руками замучила сто тридцать девять человек своих крестьян и дворовых. Что, не зверь это, Никита Иваныч? – спросила затем императрица, все время тоже не спускавшая глаз с Панина и точно ожидавшая, какое действие произведет на него это сообщение.

Панин даже привскочил.

– Государыня, – воскликнул он, – ужель то

правда?

Восклицание Никиты Ивановича звучало неподдельным удивлением, но это было только хорошее артистическое действо. Опытный дипломат тотчас же понял, о ком шла речь. Деяния московской Салтычихи были ему известны давно, и он давно уже знал немало подробностей о них. Но он молчал, как молчали и многие по поводу этого дела. Не хотели беспокоить как саму императрицу Елизавету Петровну, так и сильных при дворе Салтыковых, бывших все-таки родственниками несуральной, как говорилось тогда, персоны.

– Удивило тебя это, Никита Иваныч? – спросила государыня, нюхая снова табак и успокаивая встревожившихся по случаю порывистого движения Панина собачек.

– Истинно неслыханное дело, государыня! – развел руками Панин. – Сто тридцать девять человек!.. Совсем, совсем неслыханное дело!

– А дело налицо – есть все доказательства, – сообщила государыня.

– Все? – почти машинально спросил Панин.

– Все, Никита Иваныч, все! И удивительно мне, – как-то своеобразно переменяла тон государыня, – как это вы тут, умники да разумники, про такие дела ничего-таки не слыхивали! Али вас не занимало это? По стопам Эрнеста Карлыча шли, по стопам Бирона? Что, мол, нам Россия? Провались она хоть совсем, было бы нам хорошо!

Голос императрицы крепчал, и в нем слышалась затаенная горечь.

– Не про тебя говорю, Никита Иваныч, – продолжала она, – говорю про других. Ты был в Дании, в Швеции, ты блюл мне Павлушу. Нет, другие-то что, другие?! Али, может, и сами теми же делами занимались, тоже что на собак на крепостных на своих глядели да глядят еще и теперь?! Так пусть они это позабудут. Жестокости, криводушие и лихоимство мне совсем, сударь, не по душе! Где нет пахотника, там не будет и бархатника! Пусть помнят это!

Императрица замолчала, но на красивом лице ее изображалось явное волнение. Панину показалось даже, что на глазах императрицы сверкнули две-три слезинки. Добродуш-

ный от природы, человек хороший, Панин и сам расстроился и даже чуть не прослезился. Императрица заметила это. «Добрый! – подумала она. – Этот своих крепостных тиранить не станет. Надо сказать ему все».

Но подданный предупредил свою повелительницу.

Панин, этот добрый, мягкий, флегматичный генерал-поручик и александровский кавалер, которому Екатерина была обязана престолом не менее Орловых и которого она несколько стеснялась, привстав, медленно опустился перед императрицей на одно колено.

– Никита Иваныч, что ты! – удивленно произнесла Екатерина, взяв Панина за левую руку, которую он приложил к своему сердцу. – Встань!

– Не встану, государыня, доколе не выслушаешь меня! – сказал Панин голосом, в котором слышались почтительная решимость и то смелое достоинство, которое вырабатывается только у сильного вельможи при дворе сильного властелина.

Екатерина улыбнулась во все свое лицо и

несколько вспыхнула. Униженность Панина показалась ей отчасти странной; она не ожидала от него этого.

– Бог мой! – воскликнула она. – Да стой, Никита Иваныч, на коленях хоть до завтра, до прихода Перфильича...[3] ведь ко мне он приходит первым. То-то удивится такому пассажи!

Панин, как бы не расслышав шутливых слов императрицы, начал сдержанным, но твердым голосом:

– Сему, государыня, точно надо положить конец!

– Чему же это? – словно не поняв его, спросила императрица.

– Произволу помещиков, государыня! – еще тверже сказал Панин.

Императрица молчала с минуту, потом встала и молча подняла с колен Никиту Иваныча.

Панин тоже стоял молча и ждал от императрицы слова. Слово это наконец и было произнесено императрицей.

– Быть так, Никита Иваныч! – громко сказала императрица, сухо поведя вокруг глаза-

ми.

Панин умиленно поник головой. А императрица продолжала:

– Положу конец тиранству и научу тех, кого следует, знать и ведать, что и крепостные люди – тоже люди!.. Пусть знают, что кнут – не на потеху гнут! Бей за дело да умело, а коль из кнута забаву делают, то кнут-то об двух концах: ино хорош по мужику, а ино хорош и по барину... Как думаешь, Никита Иваныч, – переменяла вдруг тон государыня, – что надобно сделать с этой-то... с барыней-то... с этой-то тиранкой своих людей крепостных... с этой-то с Салтычихой, что ли, какой-то? А?

– Надо судить, государыня! – ответил, точно выпалил, Никита Иваныч и даже вздохнул как-то сразу и коротко.

– Именно! Судить надо, судить всенародно! – продолжала медленно императрица. – Да будет всем знамо и ведомо, что царствование свое мы открываем правдой, и правда будет наша первая мать и первая наша всенародная защитница!

Опершись одной рукой на столик, импера-

трица, говоря это, своеобразно приосанилась, выставив несколько вперед из-под платья ногу в синей туфле, и Панину показалось вдруг, что государыня перед ним точно выросла и стала много величественнее прежнего.

– Нет слов выразить о величии поведенного! – только и мог сказать Никита Иваныч, поникая своей белокурой головой в буклях и разводя руками.

Ночью лежа в постели Никита Иванович много раздумывал по поводу слов императрицы.

«Ужель, – думал он, – так-таки и решится государыня предать суду всенародно московскую помещицу? Не взбудоражится ли дворянство? Не взволнуется ли? Поначалу оно бы и не следовало – соблазн велик...»

На этих мыслях опытный дипломат и заснул.

Глава V

Графская цветочница

Графский пустырь близ Донского монастыря, куда забрела Галина за щавелем, принес бедной девушке положительное счастье.

Галина, теперь хорошо одетая, сытая и свободная, жила в графском доме на правах выдуманной графом цветочницы.

Девушка имела отдельную очень хорошенькую комнатку, чистую постель, зеркальце, несколько пар платья и много других мелочей, необходимых девушке ее лет.

Обязанность девушки состояла в том, что она каждый день, по утрам и по вечерам, должна была приносить в графские покои по нескольку букетов цветов, расставляя их в предназначенные для этого фарфоровые вазы. При этом одета она была в платье из смеси чего-то малороссийского с турецким, с венком на голове, при распущенных по плечам волосах. Смесь эта была так оригинальна и так шла к хорошенькой фигурке Галины, что даже сам граф, умелый ценитель женской

красоты, любовался ею и в скором времени заказал ее портрет в таком виде знаменитому тогда художнику Г. Портрет этот долго потом находился во дворце графа, составляя одно из лучших его украшений, и наконец после смерти графа был подарен какому-то любителю в Лондоне, сделавшему с него гравюру, которая очень часто встречалась в середине нынешнего столетия да встречается еще кое-где и теперь в так называемых забытых усадьбах. Графская цветочница изображена на ней в своем оригинальном костюме, с букетом роскошных цветов в руках, с венком на голове. Она грациозно стоит у вазы и о чем-то будто призадумалась. Такие нежные сцены были в очень большом ходу в ту эпоху, и потому неудивительно, что картина производила поразительное впечатление на созерцателей.

Все это для недавно бесприютной девушки было ново, непостижимо, и все окружающее ей часто казалось сказкой. Под влиянием новой, неслыханной жизни все прежнее как-то само собой забывалось, уходило куда-то все далее и далее. Как во сне припоминалась жизнь – и в троицком лесу, с отцом, и смерть

отца, и жизнь на Лубянке, в салтычихинском доме, и Сидорка со своей любовью и неожиданной смертью. Смутно даже припоминались ей все бедствия после побега из дома Салтычихи. Горько и тяжело тогда было Галине. Вместе с боязнью, что ее не нынче завтра поймут и отдадут в руки Салтычихи, присоединилось еще и чисто материальное горе: женщина, старуха из жидовок, у которой она случайно нашла приют, обобрала ее дочиста, кормила и одевала ее очень плохо, однако рассчитывала извлечь из нее какую-то пользу, по-своему берегла ее и умела по-своему скрывать ее и от глаз полиции, и от глаз салтычихинских приспешников.

Проживая у жидовки в одном из глухих переулков близ Калужской заставы, Галина и забрела на огороды орловского дворца и, как уже известно читателю, нежданно-негаданно встретилась с самим графом.

Тут уж память не изменяла девушке.

Она помнила все подробности встречи и все то, что она рассказывала графу про Салтычиху. Она хорошо помнит, как граф, выслушав ее, быстро поднялся с места, с красным

лицом, со сверкающими глазами.

– Ты не врешь?! – почти вскричал он тогда.

Галина клялась и божилась, что она рассказала сущую правду и что другие дворовые Салтычихи знают про нее еще более и еще более могут рассказать.

В тот же день она была взята в графский дом, где ее отдали под надзор и никуда не выпускали. Она сильно перепугалась, думая, что ее возвратят к Салтычихе, горько плакала и горько сетовала на то, что забрела на графские огороды и по своей глупости рассказала самому графу очень многое про Салтычиху. «Убьет она меня теперь, убьет непременно!» – думала она и все просилась к графу. К графу ее наконец допустили. Узнав, в чем ее горе и чего она боится, граф потрепал ее по заслужившейся щечке, успокоил и приказал именоваться цветочницей.

Между тем для той, кого так боялась Галина, для Салтычихи, наступил уже окончательный и бесповоротный расчет за прошлые деяния.

Граф никаких дел, особенно порученных ему императрицей, в долгий ящик не откла-

дывал.

В тот же самый день, в который он узнал от неизвестной ему девушки все подробности салтычихинских истязаний над дворовыми, он приказал обер-полицмейстерской канцелярии нарядить над Салтычихой немедленное тайное следствие без проволочек и без отговорок, заметив при этом самому обер-полицмейстеру:

– Чтобы к приезду государыни все было кончено!

Начальник тогдашней полиции, генерал Ш., обещал постараться.

– Стараться мало, – заметил граф. – Надо сделать.

Этого было достаточно, чтобы начальник полиции кое-что сделал. Приезд императрицы на коронацию и ожидаемые по этому случаю милости имели при этом для него немало вдохновляющего свойства.

Через день в Троицком Салтычиха была арестована, причем не обошлось без довольно-таки порядочного побоища. Одному из полицейских проломили камнем голову, а двое дворовых Салтычихи, наши знакомые Анфим

и Качедык, были, как говорилось в следственных бумагах, легко контужены.

Салтычиха билась в руках полицейской команды, как тигрица. Она кусалась, царапалась, и когда была привезена в Москву, в обер-полицмейстерскую канцелярию, то чуть не ударила самого генерала Ш. в лицо. Начальник полиции счел нужным сообщить об этом графу Орлову, прося инструкций.

– Птица невелика, – сказал Орлов, – дочь сержанта, не более. Свяжи веревками, а коль буянства не прекратит, то и в колодки забей.

Салтычиху припрятали так, что она видела только клочок неба, четыре стены – и ничего более. Она кричала, ругалась, проклинала всех и все и наконец должна была покориться своей участи.

Тайное следствие раскрыло ужасающие подробности. Они были так кровавы, так неслыханны, что граф счел за необходимое немедленно донести о том императрице.

Вместе с говором об ожидаемом приезде императрицы пошел по Москве говор и об аресте Салтычихи.

– Попалась-таки! – говорилось всюду, в до-

мах, в гербергах и на улицах.

Помещики и помещицы из числа тех, которые привыкли обращаться со своими крепостными весьма «отечески», были сильно поражены тем, что Салтычиха была арестована за такое пустое дело, как «отеческая» расправа со своими крепостными людьми. «Отеческая» расправа была для них так нормальна и так обыкновенна!

– Новая метла метет, – говорили они глухо и таинственно, боясь все-таки открыто порицать действия новых людей. – Может, и поистреплется до поры.

Метла тем временем дело свое делала упорно и круто. Крепостные и дворовые Салтычихи были допрашиваемы ежедневно, и уже не боясь рассказывали все, что знали и видели. Показания были настолько возмутительны и трагичны в своих подробностях, что сами следователи, привыкшие уже ко всему, приходили в ужас. Это было нечто невероятное, не слыханное еще на Руси, и тем более невероятное, что трудно было отыскать всему этому причину. Никому не верилось, чтобы Салтычиха только из-за нечисто вымытых по-

лов и из-за плохо выстиранного белья так ужасно тиранила бедных девушек. Выплыло наружу и дело с инженером Тютчевым. Узнано было и об убийстве Салтычихой дворового Сидорки Лихарева. Не миновали допроса, а затем и полного привлечения к делу и оба священника, троицкий и московский, отец Варфоломей, тот самый добрый старик, который из боязни перед Салтычихой хоронил заведомо замученных ею людей. Следствие производилось предварительно необычайно «в тайности», что, однако, нисколько не мешало почти всей Москве знать многие подробности дела. Судили о нем и вкривь и вкось, а многие боялись даже чего-то. Никто, однако, не знал, откуда сыр-бор загорелся, и многие из знатных москвичей, особенно родовитые Салтыковы, фамилия которых так неожиданно явилась опозоренной, не могли нигде и никак доискаться причины начала дела. Салтыковы очень хорошо знали, что одного доноса или жалобы дворовых было совсем недостаточно для того, чтобы Дарью Салтыкову арестовали и так строго и круто начали следствие. Им и в голову не приходило, что виновницей их по-

зора была простая девушка, а затем уже и сам всемогущий Григорий Орлов. Среди всей этой поднявшейся кутерьмы Салтыковы вздумали было замять дело тем, чем обыкновенно заминали в ту эпоху всякие дела, но и тут они наткнулись, невзирая на почти баснословную щедрость, на такие преграды, которые их просто ошарашили.

Одному из Салтыковых, более настойчивому, генерал Ш. только и мог ответить:

– Не тем пахнет, государь мой.

– А чем же? – спросил тот.

– Пахнет правдой божеской.

Такие слова из уст начальника тогдашней полиции показались настойчивому ходатаю просто каким-то полицейским фарсом.

– Удивлены? – спросил генерал Ш., увидев в самом деле необыкновенно удивленное лицо ходатая.

– Поражен!

– Будете, государь мой, поражены еще более.

– Чем? Как?

– Увидите.

– Сообщите! Прошу!

– Эту вашу Дарью какую-то беспременно осудят и... казнят. Много очень доказательств!

Ходатай привскочил:

– Да пусть казнят – туда ей и дорога! Только зачем же позорить нас-то всех, Салтыковых!

– А вам что за позор! – заметил генерал Ш. – Ведь она роду не вашего. Дочь сержанта там какого-то.

– Все же наша фамилия на виду, все же нашу фамилию всякой подлой подьячишко проносит!

Генерал нахмурился.

– У царицы-государыни все равны, – произнес он холодно, – а тем паче те, кто служит ей. Подлыми верноподданных своих она не называет. Те только подлы перед ней и перед законом, кто подло поступает.

Ходатай понял намек, смягчился и в конце концов добился того, что генерал Ш. под большим секретом посоветовал ему обратиться к графу Орлову.

– Он теперь в силе... он может... – сказал генерал на прощание.

Ходатай поскакал к графу. Граф принял его немедленно и весьма любезно.

– В чем дело? – спросил граф.

Салтыков объяснил причину своего приезда, сказав между прочим:

– Как видите, граф, нашу фамилию позорят, топчут в грязь!

– А откуда ваша фамилия? – спросил, улыбаясь лукаво, граф.

– Наша фамилия... – Салтыков запнулся.

– Ну да, фамилия? – переспросил граф.

– Род наш известен... мы были еще отличены при императоре Петре... затем блаженной памяти императрица Елисавет Петровна...

Граф перебил:

– Слыхивал, слыхивал! Род ваш, точно, известен, как и мой. Деды наши никак в стрельцах служили, чернослободцами именовались, кафтаны мочалой чинили, батогамы закусывали...

Ходатай вытаращил глаза. Он графа не понимал. Как так – ему, графу, богачу, любимцу императрицы, и открыто сознаваться, что он не более как внук какого-то стрельца времен Софьи Алексеевны!

– Граф! – только и мог произнести он удивленно.

– Что я граф – это точно. А что ваша Салтычиха... черт знает что такое – это еще точнее!

– Но ведь она вошла в наш род, она сделалась нам близкой, родной, – старался объяснить ходатай. – У нее есть дети, законные дети Глеба Алексеевича Салтыкова.

Граф прищурил глаза, что он имел обыкновение делать всегда, когда хотел сказать что-нибудь неожиданное или циничное.

– Верю вам, сударь мой, господин мой Салтыков, весьма много верю! – начал Орлов. – Только и вы уж, государь мой, поверьте мне немножко. У меня, сударь мой, есть хорошие конюшни – не Авгиевы, нет, – хорошие такие конюшни. Можете полюбоваться. Так вот, как тому и быть надо, в хороших конюшнях у меня и хорошие лошади. Лошади по конюшне, стало быть, и конюшни по лошадям. Ну вот! А не угодно ли вот вам, государь мой, в мою хорошую конюшню да поставить плохую мужицкую кобылу? Что из того выйдет, сударь? Кто украсит кого: конюшня кобылу или кобыла конюшню? Здраво судя, конюшня останется

ся конюшной, а кобыла кобылой. Не так ли, сударь?

– Истину изволили сказать, граф! – согласился ходатай, очень хорошо поняв иносказание Орлова.

– А коль сие истина, так она истиной и останется, и кривизну в нее вносить как будто и не след.

– Но как же с ней поступят, граф?

– Дело суда.

– Казнят?

– Пожалуй, и стоило бы. Только бы я до того, как отрубить ее дурацкую голову, почаще бы не забывал и ее спину: разок бы этак в Троицком, разок бы этак на Лубянской площадке. Припомнила бы тогда, что и у других людей на спине шкура не барабанная, а настоящая, человеческая шкура.

Ходатай ушел от Орлова, как говорится несолоно хлебавши и думая про себя: «И откуда этакое человеколюбие? В самом деле, не запахло ли чем-либо новым, чем-либо таким, от чего нам не поздоровится? Уж не прошли ли раз навсегда времена императриц Анны и Елисаветы, а новая императрица не набра-

лась ли духа с Запада?»

На семейном совете все Салтыковы дружно и настойчиво решили дело втуне не оставлять и, по крайней мере, добиться того, чтобы оно тянулось как можно долее. Может быть, все и позамнется, и позабудется, и с течением времени потеряет свой острый характер. Денег решено было на дело не жалеть и добиваться своего всеми дозволенными и недозволенными путями. Последствия доказали, что Салтыковы отчасти своего добились. Но не добились они только полного уничтожения дела. Слишком уж много крови было пролито, для того чтобы можно было замять такое неслыханное и почти невероятное по своим кровавым подробностям дело...

Глава VI

«Заботливая матушка»

Уже не говоря про время отдаленное, Москва все прошлое столетие и первую четверть нынешнего только и хороша была снаружи, со знаменитых Воробьевых гор. Внутри же она с ее улицами и переулками, с площадями и тупиками, с рекой и речками представляла довольно грустное и безотрадное явление. Мостовые устроены были только по большим улицам, и то большей частью бревенчатые. Впоследствии на них была сделана земляная насыпь, на которой уже и начали устраивать мостовые нынешние. Тогдашние мостовые были выпуклы посередине, а на краях их, близ домов или длинных тянувшихся заборов, находился сток воды. Пешеходы поэтому старались ходить посередине мостовой, где было суше, откуда их часто сгоняли проезжие, ездившие, впрочем, кроме священников с требами, медиков и акушеров, весьма тихо. Многие улицы пролегали тогда косвенно, упираясь в какой-нибудь тупой пе-

реулок или здание или выходили на пустыри, которых было весьма много и где совершенно свободно гуляли те животные, которые в апельсинах ничего не смыслят. Пустыри находились даже близ Кремля, по берегам существовавшей тогда еще во всей своей неприкосновенности речки Неглинки. Нынешняя Моисеевская площадь, подле Охотного ряда, да и самый Охотный ряд представляли тоже большие пустыри. Около Покровского собора, или Василия Блаженного, что на Рву, действительно долго существовал большой ров, в котором росли деревья и прятались одичавшие собаки. На месте нынешних бульваров (их начали устраивать после 1812 года, а первый был Тверской) были непролазная грязь и топь и находились складочные места для всякой нечистоты. Земляной город, напротив, отличался некоторой чистотой: там находились дачи бояр с прудами, с островками на них, с ветряными мельницами и лесами, куда праздные люди хаживали за грибами и за ягодами. Об освещении московских улиц по ночам тогда и не думали; всякий, кто имел возможность, ходил с фонарем, а даровое

освещение было только у некоторых барских палат, где обыкновенно у ворот ставились подходящие фонари. Темноту улиц усугубляло еще и то, что крикуны, род нынешних дворников-сторожей, состоявшие из обывателей же, прохаживаясь в 10 часов вечера около обывательских домов, усердно колотили по ставням их палками и протяжно кричали: «Десятый час! Огни гасить!»

Невелика была Москва в то время и населением. В середине прошлого столетия в Москве насчитывалось всего 60 тысяч человек. В 1782 году, перед открытием Московской губернии, по рапорту императрице графа Чернышова, число это удвоилось. Затем, через 50 лет, в Москве уже было жителей 250 тысяч человек, и с тех пор число ее жителей увеличивается с каждым годом, дойдя теперь уже почти до 800 тысяч человек.

В начале сентября 1762 года все тогдашнее население Москвы было в необыкновенном волнении. В Москву со всем своим двором с небывалой дотоле торжественностью приехала новая императрица. Столица готовилась к коронации. Все оживилось, заговорило, при-

няло праздничный вид. На Красной площади устраивали столы для народа. В самом Кремле, который тогда был еще просторен, воздвигали вышки, крыльца, помосты и затейливые транспаранты. Сама императрица, однако, показывалась народу редко, но зато если куда выезжала, то с чисто царской роскошью: впереди, перед каретой ее, ехал обыкновенно взвод лейб-гусар в блестящих мундирах, сзади сопровождал ее подобный же отряд гвардии. Если выезд ее случался поздно вечером, то путь ее освещался факелами. Появление ее на какой бы то ни было улице всегда производило восторженное волнение в народе. Всех поражала эта небывалая пышность, это небывалое явление. 22 сентября коронация благополучно и блистательно свершилась, и по завершении ее тотчас же начался ряд торжеств и празднеств. Осень тогда стояла прекрасная. Тут уж императрица начала показываться среди народа ежедневно и любовалась его забавами, в сопровождении всего состава придворных. В это время она во всякое время ездила в раззолоченной карете, запряженной восьмью красивыми и статными неаполитан-

скими лошадьми с цветными кокардами на головах. Одета она была в ало-бархатное русское платье, унизанное крупным жемчугом, со звездами на груди и в бриллиантовой диадеме на голове, почему тогдашние витии и называли ее «богиней под венцом». По бокам кареты императрицы ехали обыкновенно генерал-поручики, а конвоировали герольды с жезлами в руках, бросая народу серебряные монеты. В это же время государыня совершала и далекие поездки: в Покровское, Семеновское. Преображенское – настоящие тогда села, где для государыни тамошние девушки, в праздничных сарафанах, с открытыми головами, в цветных косынках, а молодницы в шелковых шубках, в киках с дробницами, с веселыми песнями водили хороводы. Затем государыня любила посещать Сокольничье поле. Там увеселяли ее настоящие цыгане: пели, плясали, показывали ручных медведей. В заключение коронационных пиров и торжеств дан был против Кремля, в Замоскворечье, блистательный по тогдашнему времени фейерверк, в котором первое место занимала аллегория, изображавшая Россию с ее победа-

ми и с ее славой. Для народа это было совсем невиданное зрелище.

Государыня прожила в Москве всю зиму, и во все это время ряд придворных пиршеств почти не прекращался, но – замечательно! – не прекращалась при этом и ее настойчивая деятельность по делам государства. Деятельность эта была чрезмерна, почти непосильна: указы шли за указами, распоряжения за распоряжениями, и все это дышало силой, энергией, предусмотрительностью, и от всего этого веяло чем-то совершенно новым. Понял это даже и простой народ, мало тогда чем интересовавшийся, и дал новой государыне прозвище «заботливой матушки». Прозвище это очень польстило государыне, когда она услышала о нем.

– Спасибо им, добрым людям, что поняли меня, бедную вдову! – сказала она на это.

Глава VII

Всякому делу свой конец

Масса дел чисто государственных, неотложных нисколько, однако, не мешала государыне интересоваться особенным делом Салтычихи.

Ровно через восемь дней после коронации, 1 октября 1762 года, последовал указ о назначении открытого следствия над Салтычихой. Дело, таким образом, приняло уже официальный характер, почему и начались официальные же допросы и обыски. Были даже для этой цели назначены особые чиновники: инспектор (название тогдашних частных приставов) Волков и князь Дмитрий Цицианов. Следователям внушено было, что дело это серьезное, что им лично заинтересована государыня и что поэтому они должны заняться им без проволочек. Следователи за дело принялись горячо и в самое короткое время добыли много данных, говорящих и в пользу, и не в пользу Салтычихи. При повальных обысках, сделанных в Москве Волковым, а в окрестно-

стях Троицкого князем Цициановым, Салтыкова была одобрена. Потом эти же следователи представили несколько показаний сторонних свидетелей о жестокостях Салтыковой, но все эти показания основывались на слухах от людей Салтыковой же. Но сама Салтычиха решительно ни в чем не признавалась, утверждая, что все эти доносы сделаны на нее из злобы и что люди ее умирали естественной смертью от болезней или бежали. Для приведения Салтыковой к осознанию и раскаянию был призван даже духовник. Но когда он донос, что не видит в Салтыковой ни осознания, ни раскаяния, то об упорстве Салтыковой доложено было императрице. Императрицу это немало удивило.

– Как поступить, Григорьич? – спросила она у Орлова, будучи у графа в тот же день, по-семейному, на Шаболовке,

– По старой методе, государыня.

– Какой такой?

– Пытать.

– Вот и следователи у меня просят того же, – сказала, государыня. – Только я не того желаю. Кнутом да дыбой и от самих, поди,

следователей можно бы узнать такое, чего им никогда и во сне не снилось. Не того я хочу, и не того мне надо, Григорьич. Нет.

– Твой ум, государыня, – твое дело, – отвечал уклончиво Орлов, недовольный собой за маленькую оплошность.

– Ума и тебе, Григорьич, не занимать стать. Да тут не в уме дело – в прозорливости. А ну баба и в самом деле ни в чем не повинна, а ну мы бабу обидим ни за что ни про что?

– Не может того быть, государыня! – отвечал уверенно Орлов.

– Почему так?

– Самолично я обо всем разузнавал, государыня, – начал твердым голосом и с той же уверенностью Орлов. – Самолично видел ее погребницу в Троицком. Кольца в ней, костыли и всякие другие приспособления для мук. Самолично потом, под видом ямщика, с девочкой этой слышал многое такое, о чем и говорить-то зазорно. Самолично потом разузнавал о ней и тут, в Москве, на Лубянке, и самолично убедился, государыня, что она, Салтычиха эта, злая-презлая мучительница и душегубица и достойна примерной казни.

Императрица слушала Орлова внимательно. Потом, на мгновение закрыв лицо рукой, приказала:

– Покажи мне эту девочку. Сам уйди.

Через минуту перед императрицей стояла испуганная Галина. Императрица несколько мгновений не спускала с девушки глаз. Потом, решив, что такая не солжет, успокоила девушку и приказала ей рассказать не боясь все, что она видела, и все, что она слышала про Салтычиху.

Галина начала рассказывать, что видела и что знала и что она давно уже рассказывала графу. Рассказ был путан, странен, язык плохо повиновался девушке. Галина приплела к рассказу и смерть своего отца, и как его похоронили, и то, как Салтычиха засадила в погребицу Тютчева, и как Тютчев спасся, и как Салтычиха ловила Тютчева, как потом хотела поджечь дом его невесты, как убила Сидорку. Не забыла упомянуть и об исполнителях приказаний Салтычихи, кучере Акиме и дворнике Анфиме. Повела и о том, как Салтычиха убила ударом ноги Фиву, как она сама, Галина, сделалась затем любимицей Салтычихи,

нагрубила ей и сбежала от нее. Все это было передано Галиной несвязно, торопливо, с горячечной боязнью, но императрица понимала, в чем дело, и только ободряла девушку:

– Не бойся, милая, не бойся. Говори смело.

Под конец Галина стала и точно посмелее. Ласковый голос императрицы и ласковый взгляд ее, доступность ее и простота очаровали бедную девушку, и она долго потом, во всю свою долгую жизнь, не могла забыть ни этого ласкового голоса, ни этого ласкового взгляда, особенно же не могла забыть того, что императрица на прощание допустила ее к руке, потрепала по смугленькой щечке и проговорила с улыбкой:

– Будь умницей. Я тебя попомню.

Когда к императрице снова вошел Орлов, то она его встретила следующими словами:

– Ты прав, Григорьич: эта Салтычиха и точно мучительница и душегубица и достойна позорной казни. Думается мне, – добавила она далее, – что ей не следовало бы именоваться и женщиной: она недостойна сего названия. Только звероподобный мужчина способен на такое бестолковое душегубство.

Затем императрица решила, что, пожалуй, для такой персоны и пытка была бы не излишней, только она этого не желает.

– Как же поступить, государыня? – спросил Орлов.

– А надо, Григорьич, – ты так и распорядись – только уверить этого изверга, эту Салтычиху, что она непременно подвергнется пытке, ежели не признается добровольно в своих преступлениях.

Так и поступили. Чтоб показать подсудимой на деле всю жестокость розыска, приказано было над кем-либо из преступников, к тому осужденных, произвести пытку в присутствии Салтыковой. Через несколько дней это было исполнено, но Салтыкова осталась при своих показаниях.

Доложили об этом императрице.

– Понимаю, в чем дело, – сказала императрица. – Она надеется на продолжительность следствия: авось, мол, тогда и смилуются. Только тому не быть. Пусть дело благодаря золоту да связям длится хоть несколько лет, а все же не попусти такого мучительства и душегубства среди своих подданных. Всякому

делу свой конец.

Императрица не ошиблась. Дело Салтыковой длилось долго, весьма долго. Оно длилось ровно шесть лет, придя к своему окончанию только 2 октября 1768 года.

Глава VIII

«Урод рода человеческого»

Все шесть лет, в которые длилось дело Салтычихи, сама Салтычиха находилась на свободе, но под строгим полицейским и судебным надзором.

Она проживала в своем доме на Лубянке, и при ней имелось не более пяти человек домашней прислуги, взятой для этого случая из дальних ее деревень, и никаких дел по своим имениям она уже не ведала; все ее имения и доходные статьи были отданы под строжайшую опеку, и она получала из доходов с имений столько, сколько необходимо было для безбедного существования.

Тише воды ниже травы, как говорится, стала когда-то буйная и грозная барыня. Она почти ни с кем не говорила, запиралась и по це-

лым дням сидела в одиночестве, гадая на картах или читая книги мистического содержания, в которых она хотела почерпнуть разгадку своей будущности.

А будущность интересовала ее очень и очень сильно.

Чуяла она, озлобленная и мрачная, что дело ее попросту не кончится, что придется почитаться за прошлые свои деяния, но как и чем – она угадать не могла.

Подавались Салтычихой просьбы даже самой императрице. Но в этих просьбах закоренелая злодейка не сознавалась ни в чем, все старалась обелить себя, и поэтому просьбы оставались без всякого внимания.

Не дремали и ее родственники. Были подкупы, обещания. Несколько человек из свидетелей как-то несвоевременно умерли, иные пропали без вести. Умер и священник, отец Варфоломей. Дело запутывалось, принимало необъяснимый и загадочный характер. Многие свидетели показывали уже не то, что показывали прежде. Дело, наконец, на третий год его производства стало таким темным, что следователи решили предать его забве-

нию, что чуть и не свершилось. Уже был составлен в таком смысле и доклад на имя самой императрицы.

Императрица самолично прочла доклад и сделала на полях его замечание: «Дело продолжать».

Между прочим, на одном придворном куртаге, увидев как-то Николая Ивановича Салтыкова, родного племянника покойного мужа Салтычихи Глеба Алексеевича, государыня, как бы забыв, в каком родстве Николай Салтыков находится с Салтычихой, спросила его:

– Николай Иваныч, тебе не родня московская лиходейка, как ее... Салтыкова, что ли, Дарья Николаева?

– К прискорбию, государыня, родня, – отвечал, нисколько не смутившись, Салтыков.

– А-а! – произнесла государыня. – А я и позабыла! И точно что родня, даже, помнится, и дети ее у тебя на воспитании... Что ж, запомнить немудрено – их там столько, в Москве-то, Салтыковых этих, что и не разберешься, кто кому родня. А все в дружбе живут, друг дружку поддерживают, так что уж и мне, бедной вдове, покоя не дают. Поуйми их там ма-

лость, Николай Иванович!

Намек был слишком ясен, и Николай Салтыков понял его. Ему предлагалось обуздать излишнее усердие Салтыковых в деле Дарьи Николаевой.

– Государыне моей всегда служу усердно и служить буду, коль на то милость ее высокая, – ответил Салтыков тоном человека, который действительно служить готов и в том ни для кого не может быть сомнения.

– Погляжу, – было последнее короткое слово государыни.

Короткое слово это было брошено государыней не на ветер. Умный, рассудительный, везде и всюду находчивый и быстро продвигавшийся вперед на служебном поприще, Николай Салтыков еще при самом начале дела советовал другим родственникам Салтычихи не особенно-то рьяно защищать ее, так как ему очень хорошо ведомо, что и как творила Салтычиха и как своевольничала со своими дворовыми. Совет его не был принят во внимание, и он успокоился на том, что «палка найдет виноватого.» Палка, однако, искала виноватого плохо, и так плохо, что Салтыков

наконец дождался того, что сама императрица напомнила ему о неуместности заступничества его родственников за Салтычиху. Николай Иванович немедленно отправился в Москву и строго внушил кому следует, чтобы Салтычиху оставили как злодейку ее собственной участи, так как хлопоты о ней отзовутся на них всех «весьма неблагоприятно». Родственники послушались, и дело вдруг как-то сразу продвинулось вперед. Но вместе с тем как-то сразу, в одну неделю, занемогли и умерли два главных следователя, Волков и Цицианов. Назначены были новые лица, но уже из Петербурга, по указанию самой императрицы, которая, узнав о смерти следователей, только заметила русской пословицей:

– Возьми на калачи да делом не волочи.
Бог им судья!

Дело приняло новый оборот. Новые следователи начали все сначала и с неукоснительным усердием, позаботившись в особенности, чтобы героиня дела не имела ни с кем ни малейших сношений. Салтычиху положительно заперли в четырех стенах и приставили двух полицейских поручиков, тоже присланных

из Петербурга.

Салтычиха приуныла, осунулась, потеряла прежнюю силу духа и прежнюю силу воли. Между тем благодаря усердию новых следователей открывались и новые подробности ее жестокостей. Открылось, что она дворовых морила голодом, брила головы и заставляла работать в колодках, а зимой заставляла многих стоять на морозе босыми и в одних рубахах. 14 декабря 1767 года Салтычиха, жестоко наказав розгами девку Аграфену, собственноручно забила ее потом в виду всех дворовых костьюлем. Дворовые по этому поводу подали в Московский сыскной приказ жалобу. Жалоба была оставлена без последствий, как принятая за извет, и сами жалобщики, в числе пяти человек, были наказаны кнутом и сосланы в Сибирь. Через год, 25 мая 1758 года, была подана в тот же сыскной приказ новая челобитная, в которой говорилось, что Салтычиха собственноручно убила в течение года шесть девок: Арину, Аксицию, Анну, Акулину и двух Аграфен. Все шесть несчастных девок забиты костьюлем, рубелем и розгами. Доносителей было двое: пастух Филипп, отец одной из по-

гибших, и мужик Никита, родной брат двоих из девушек. Доносителей выдали головой Салтычихе, и она посадила их сперва на цепь в погребнице, а потом засекала. В том же году, в октябре и ноябре, была задушена ею девушка Марья, утоплен в сажалке молодой племянник гайдука Хрисанфа, засечена лозой дворовая женка Анна Григорьева и скалкой убита жена дворового Ермолая Ильина. Обозленный Ермолай Ильин подал жалобу – один, от своего лица, с перечислением всего того, что творила Салтычиха. И его жалоба, как и жалобы прежних дворовых, была признана изветом. Ильин по наказанию его кнутом был возвращен Салтычихе и вскоре отчего-то умер. После жалобы Ильина «изветы» прекратились, и Салтычиха всякому наказуемому говорила:

– Ты хоть на меня в донос пойдешь, ничего не выиграешь, кроме разве кнута и ссылки, коим подверглись и прежние доносчики.

У новых следователей дело тянулось тоже три года, и наконец ко 2 октября 1768 года было окончено и представлено императрице. Императрица, невзирая на массу забот по слу-

чаю готовившейся войны с Турцией, объявленной манифестом через месяц, несколько дней подряд тщательно рассматривала дело и собственноручно сделала на нем пометку: «Виновность доказана».

А потом: «Сей урод рода человеческого перед многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую».

Сенату затем было повелено составить и отпечатать указ по делу Салтычихи, «чтоб оный был многим в назидание».

Глава IX

Знаменательный указ

Как преступница, преступление которой доказано, Салтычиха была уже теперь арестована раз и навсегда и закована в железа. Аресту она поддалась беспрекословно: молчала, сопела и сверкала глазами. Но когда на ее ноги кузнец начал набивать железом обитые колодки, она, оглянувшись на стены той комнаты, где столько лет была беспрекословной и грозной владычицей, взвизгнула так, что

державшие ее полицейские драгуны чуть бы-
ло не выпустили ее из рук, а у кузнеца задрожали руки. Посидев с минуту как бы в обмороке, она пришла в себя и глухо проворчала:

– Слопали!.. Насытились!.. Ну ладно же!..

Она замолчала, как-то сразу осунулась, и уж от нее более никто не слышал ни слова. Она только сопела, косилась да по временам взвизгивала совершенно по-собачьи.

10 октября сенатский указ по ее делу был уже в Москве.

Вот его любопытное содержание:

«Указ ее императорского величества самодержицы всероссийской.

Из Правительствующего сената объявляется во всенародное известие.

Вдова Дарья Николаева, которая по следствию в Юстиц-коллегии оказалась, что немалое число людей своих мужеского и женского полу бесчеловечно, мучительски убивала до смерти, за что по силе всех законов приговорено казнить ее смертью, о чем от Сената ее императорскому величеству поднесен был доклад. Но ее императорское величество, взирая с край-

ним прискорбием на учиненные ею бесчеловечные смертные убийства и что она по законам смертной казни подлежала, от той приговоренной смерти ее, Дарью, освободить, а вместо смерти повелеть соизволила:

1. Лишить ее дворянского названия и запретить во всей Российской империи, чтоб она ни от кого, никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа.
2. Приказать в Москве в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на первую площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в Юстиц-коллегии сентенцию, с исключением из оной, как выше сказано, названия родов ее мужа и отца, с присовокуплением к тому того ее императорского величества указа, а потом приковать ее стоящую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами: «Мучительница и душегубица».
3. Когда она выстоит целый час на том поносительном зрелище, то,

чтоб лишит злую ее душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать собственному промыслу Творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвезти оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой по смерть ее содержать таким образом, чтоб она ниоткуда в ней свету не имела. Пищу ей обыкновенную, старческую подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся. А из того заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь».

Замечательно, что на полях подлинного указа рукой императрицы против слова «она» везде поставлено «он». Несомненно, что государыня хотела этим дать знать, что Салтыкова недостойна называться женщиной.

Глава X

Позорище

Семь дней спустя, по получении в Москве указа, он был приведен в исполнение.

Скажем о том, как это происходило в снежный и морозный день 18 октября 1768 года, словами современника и очевидца этого события.

Письмо это найдено в старинном сборнике. Писано оно, вероятно сыном к отцу, из села Покровского и помечено 21 октября 1768 года.

Очевидец писал:

*«Милостивый государь мой!
На нынешней почте по реестру писем от вас, государь, не было, о чем я и умалчиваю, а донесу только вам, что у нас в прошедшую субботу делалось, то есть 17-го числа. Сделан был на Красной площади эшафот, возвышенный многими ступенями, посреди коего поставлен был столб, а в столб вбиты три цепи. И того дня сделана публикация, а по знатым домам повест-*

ка, что 18-го сего октября будет представлено позорище, кое 18-го числа часу во 12-м, в начале, и началось следующим порядком. Прежде шла гусар команда, потом везена была на роспусках Дарья Николаева дочь Салтыкова, во вдовстве, людей мучительница, по сторонам которой сидели с обнаженными шпагами гренадеры. И как привезена была к эшафоту, то, сняв с роспусков, взвели и привязали цепями ее к столбу, где стояла она около часу. Потом, посадив паки на роспуски, отвезли в Ивановский девичий монастырь, в сделанную для ней в земле глубиной аршина с лишком в три покаянную, коя вся в земле и ниоткуда света нет... А во время ее у столба привязи надет был на шею лист с напечатанными большими литерами: «Мучительница и душегубица». А как ее повезли, то после ее биты были кнутом и клеймены люди ее: кучер, что убитых валил, и другие, чем и кончилось сие позорище...»

Но «позорище» этим не кончилось.

В тот год зима в Москве началась рано. С 1 октября выпал снег, а к 15-му река Москва за-

мерзла, и всюду установился санный путь. С этого числа ударили хорошие морозы.

День 18 октября был морозный и ветренный. Невзирая на это, десятки тысяч народу собралось на «позорище», дотоле еще невиданное. Красная площадь была покрыта народом сплошь, крыши домов унизаны любопытными по всем направлениям, так что, по словам очевидца, «не можно поверить, сколько было оного». А карет и повозок было такое множество, что при тесноте переломали их немало, да немало же искалечили и передавили до смерти народу: по окончании «позорища» оказалось более ста искалеченных людей и поднято около тридцати трупов, обрушилось одно крыльцо и развалилась часть крыши у одного из домов Белого города.

«Не к добру это! – пронеслось тогда в народе. – Быть беде и горю!»

Императрицу весьма опечалило известие о несчастьях во время «позорища».

– Тварь низкая! – произнесла она. – И тут из-за нее гибель другим! Знать, у нее на роду кровь написана.

«Позорище» долго занимало и волновало

Москву. Особенно интересовало оно просто-народье и всех тех, кто близко стоял к господам.

– Потачки не дает и господам! – толковали простолюдины.

Народ стал понимать новую императрицу и по-своему ее оценил и любил.

И точно, этой мерой, то есть судом над произволом помещицы, новое царствование дало себя знать народу, и Екатерина обеспечила себе приверженность простолюдинов. Мало этого, впоследствии тогдашнее правительство строго следило за злоупотреблениями помещичьей власти и в случаях насилия покупало в казну у злого помещика его крепостных. По тогдашнему времени и это уже было много хоть для некоторого облегчения участи миллионов крепостных людей. Это был шаг, который впоследствии дал свои благословляемые миллионами же людей плоды...

Эпилог

В первый же год своего заключения Салтычиха сошла с ума. Но признаки сумасшествия обнаружилились в ней еще ранее, во время следствия.

Она сидела в подземелье Ивановского девичьего монастыря, вроде склепа, куда ей подавалась нарочно приставленным солдатом скудная пища в окошечко, задернутое зеленой занавеской.

Двенадцать лет она просидела в этом склепе, а затем ее поместили в застенке, нарочно для того пристроенном к горней стене храма.

Тут народ свободно видел «изверга женского пола и человечества» и за свое любопытство слышал от Салтычихи буйные ругательства, получал плевки и видел суковатую палку сумасшедшей, которой она совала в неосторожно приблизившихся к окошечку любопытных.

Родной племянник мужа Салтычихи, светлейший князь Николай Иванович Салтыков, стал править Москвой. Пронеслась над Москвой грозная чума. Казнили на Болоте грозно-

го для нее, как чума, Пугача. Умерла Екатерина. Стал царить Павел. Умер и Павел, и вступил на всероссийский престол Александр...

Все эти знаменательные события в течение тридцати лет пронесли над головой заключенной совершенно неведомо.

Неведома для нее была и жизнь ее собственных детей.

Она не знала, что второй сын ее, Николай, женился на графине Анастасии Федоровне Головиной, имел сына и дочь и умер в 1775 году. Неведомо ей было и о смерти старшего сына, Федора, который умер несколько позже пожилым, одиноким холостяком.

Толстая, обрюзгшая, с безумными телодвижениями, с дико блуждающими глазами, Салтычиха и для своих сыновей казалась «извергом рода человеческого». Дети только по одному разу видели свою заключенную безумную мать и уж более не приходили к ее застенку, да и бесполезно это было: мать не узнала бы своих детей, а им нельзя было бы сказать ей и слова. Участи ее улучшить они тоже не могли – это было совершенно не в их власти.

Так и жила безумная заключенная ровно тридцать лет, озлобленная, звероподобная, без раскаяния в своих кровавых злодеяниях, и умерла только в 1801 году, 27 ноября, шестидесяти восьми лет, пережив обоих своих сыновей и одного внука.

В холодное ноябрьское утро тело этой когда-то жестокой женщины было предано земле в Донском монастыре среди могил ее родственников и сыновей. Могилу эту, без креста, вскоре затоптали, сровняли с землей и забыли о ней.

Но не забыла Салтычиху стоустая и живучая народная молва.

В начале нынешнего столетия долго в Москве ходила по рукам лубочная картинка, изображавшая Салтычиху у позорного столба с подписью: «Мучительница и душегубица». Затем молва взвела на нее то, чего на самом деле и не было. Народ назвал ее Салтычихой-людоедкой. В жестокостях Салтычихи до этого дело не доходило. Впрочем, народная логика имеет свои законы: часто в народе именуют людоедами тех людей, которые в несчастьях других находят для себя удоволь-

ствие.

Дом Салтычихи на Лубянке, где так много было пролито ею человеческой крови, существует и доселе. Существует и сельцо Троицкое, перешедшее уж чуть не в пятые руки. Принадлежал внуку Салтычихи, Николаю, и бывший Чертковский дом на Мясницкой. За-стенок Ивановского монастыря, где так долго сидела в заключении Салтычиха, разобран вместе с церковью в 1860 году.

Почти до конца шестидесятых годов на Божедомке, недалеко от церкви Ивана Воина, стоял старенький, полуразвалившийся деревянный домик.

В нем, в этом домике, совсем одиноко проживала стопятилетняя старушка – маленькая, сторбившаяся, с морщинистым личиком, темным, как земля. Для своих лет она была бодрее и необыкновенно, и соседи каждый день, и в летнюю жару и в зимнюю стужу, видели ее ходящую пешком то к Сухаревой башне, то на Лазаревское кладбище.

Во всем околотке старушка была известна

под именем бабушки Галины. Никому неизвестно было ее прошлое. Знали только, что она приобрела домик, будучи уже старушкой, как-то давным-давно, еще до холеры, и с тех пор живет в нем безвыездно. Все соседство было бы удивлено непомерно, если бы узнало, что у этой старушки такое прошлое, о каком никому и во сне не снилось.

Это была наша Галина. Это она, стопятидесятая старушка, доживала свой долгий век близ того места, где она видела более восьмидесяти лет назад труп своего любимого Сидорки Лихарева.

Все эти восемьдесят лет прошли для Галины как во сне.

Она видела «позорище» Салтычихи. Видела, как наказывали кнутом тех, кто сам когда-то владел кнутом не хуже палача. Видела затем саму Салтычиху в застенке и даже близко-близко заглянула в лицо своей когда-то грозной барыни. Бог весть, узнала ли Салтычиха Галину, но она так же внимательно посмотрела на свою прежнюю любимицу и, проворчав: «Стерва», – отвернулась. Пережила и своего благодетеля, графа Орлова, ко-

торый, покидая Москву, дал ей вольную, снабдил щедро деньгами и отпустил на все четыре стороны.

Дождалась Галина и воли – воли, объявленной манифестом 19 февраля 1861 года. Еле-еле поверила старушка этому, и когда справедливость слуха о воле подтвердилась, тихо расплакалась и долго молилась перед иконой Божией Матери всех скорбящих, молилась так, как она обыкновенно молилась почти изо дня в день на Лазаревском кладбище, на каком-то еле приметном бугре, известном ей одной и ей одной дорогом.

На бугре этом в весеннее утро она как-то и умерла.

Нашли ее кладбищенские сторожа лежащей поперек бугра, с припавшим к свежей, вешней траве лицом, с признаками слез на глазах.

В тот же день воры пробрались в ее домишко и, роясь в разном убогом старушечьем скарбе, обронили нечаянно огонь. Домик к вечеру сторел дотла.

Покойную похоронили там же, где она и умерла, возле бугра. Но над ней ничья благо-

детельная рука не поставила креста – и затерялась ее могила среди других могил, как теряется сиротливое дитя среди неродственного и чуждого ему люда...

Примечания

1

*Ай, сделал же парень
Три беды, три уголовья:
Первую беду долой сбросил
Он своей казною,
А вторую беду долой сбросил
Своим умом-разумом,
А третью беду долой сбросил
Своей молодой женой.*

[^^^]

2

Тюльпа происходит от собственного имени. Если верить преданиям, близ нынешней Трубной площади в Москве находился двор незначительного царского сокольника Тюльпы.

[^^^]

Елагин, бывший секретарь императрицы.

[^^^]